

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Annotation

Роман Грэма Грина «Меня создала Англия» отражает социально-политическое брожение 1930-х годов.

- [Грэм Грин](#)

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)



Грэм Грин Меня создала Англия

*Раз я живу – не
умирать же мне с голоду.*

*Уолт Дисней.
«Кузнечик и
муравей»*

Видимо, она ждала любовника. Без малого час просидела она на высоком табурете, вполоборота к стойке, не сводя глаз с вращающейся двери. За ее спиной под стеклянным колпаком стопкой громоздились бутерброды с ветчиной, шипели спиртовые чайники. Когда дверь открывалась, внутрь вползал едкий запах машинной гари. От него сводило кожу на лице и скулы. – Еще джин. – Уже третья рюмка. Негодяй, подумала она с нежностью, я же умираю с голоду. Научившись пить шнапс, она и джин проглотила

залпом; хорошо бы с кем за компанию, но компании не было. Мужчина в котелке, поставив ногу на медный приступок и облокотившись на стойку, тянул пиво, что-то говорил, опять прикладывался к кружке, вытирал усы, что-то говорил, поглядывал на нее.

Через пыльное дверное стекло она вгляделась в шумную темноту снаружи. В тусклый прямоугольник сыпали искрами машины, сигареты, тележка выбивала искры на асфальте. Дверь крутанулась, заглянула усталая старуха, кого-то не нашла.

Она поднялась с табурета; мужчина в котелке следил за ее

движениями, официантки бросили вытирать посуду, смотрели. Их мысли барабанили ей в спину: не дождалась, значит? Интересно, что он из себя представляет? Поиграл и бросил? Она стояла в дверях, искушая их любопытство: ее забавляла обступившая тишина — глубокая и внимающая. Ее взгляд обежал пустые голубые рельсы, скользнул по платформе и уткнулся в дальние фонари и книжные киоски; потом она вернулась к своему табурету, чувствуя, как облепившие ее чужие мысли отлетают вместе с чайным паром, официантки протирали стаканы, мужчина в котелке потягивал пиво. — Дальше

будет хуже. Возьмите, к примеру, шелковые чулки. — Еще джин... — Теперь она только пригубила, опустила рюмку на стойку и стала торопливо краситься, словно спохватившись, что в горячке ожидания пренебрегла обязанностями. Уверенная, что он уже не придет, а еще час надо чем-то себя занимать, она про них и вспомнила: рот, нос, щеки, брови. — Фу-ты, черт! — Сломался карандаш для бровей, и упавший на пол грифель она растерла носком туфли. — Фу-ты, черт! — ей было наплевать, что ее опять обступает любопытство, холодное и враждебное. А ведь это все равно,

что разбить зеркало, — плохо, не к добру. Уверенность покидала ее. Она уже сомневалась, узнает ли брата, если он соблаговолит явиться. Но узнала сразу: шрамик под левым глазом, круглое лицо, которое всегда казалось неожиданно осунувшимся, лицо утомленного ребенка, и настораживающее даже посторонних добродушие.

— Кейт, — он был весь раскаяние, — прости, что опоздал. Я не виноват. Видишь ли... — и насупился, готовый встретить недоверие. И целуя его, обнимая, чтобы убедиться в его реальности, в том, что он-таки пришел и они опять вместе, она думала: а с какой стати

верить ему? Он рта не откроет без того, чтобы не соврать.

— Хочешь моего джина? — Он пил медленно, и она, как о себе самой, уверенно поняла, что он встревожен.

— Ты не изменился.

— А ты изменилась, — сказал он. — Ты очень похорошела, Кейт. — Вот оно, думала она, обаяние, твое проклятое пленительное обаяние. — Благополучие тебе к лицу. — Она всматривалась в него, придирчиво разглядывала, как он одет, искала признаки, что сам он в эти годы видел мало благополучия. Впрочем, один хороший костюм у него всегда был. Высокий, широкий в плечах,

худощавый и немного утомленного вида, со шрамом под левым глазом, он сразу привлек внимание официанток. – Пожалуйста, пива, – и официантка буквально распласталась на стойке: Кейт перехватила зажегшийся в его глазах лучик обаяния.

– Куда пойдем ужинать? Где твои чемоданы? – Он чуть подался от стойки и поправил школьный галстук.

– Дело в том, что... – начал он.

– Ты со мной не едешь, – сказала она с печальной уверенностью. Даже удивительно, как у нее сразу опустились руки: ведь ему как дом родной эта комната, клубы дыма за

дверью, выдохшееся пиво, «Гиннес вам полезен» и «Уортингтон вас выручит» — в нем самом та же самоуверенность и нахрапистый тон рекламы.

— Откуда ты знаешь?

— Я всегда знаю. —

Действительно, она всегда знала наперед; она была на полчаса старше; порою ее угнетала мысль, что за эти несчастные полчаса она расхватала мужские качества — твердый характер, напористость, а ему оставила лишь обаяние, которого так не хватает женщинам. — Тебе что же, не дают работу в Стокгольме?

Он облучил ее улыбкой; опустив обе ладони на ручку зонта (перчатки,

подумала она, нужно почистить), он привалился спиной к стойке и лучисто улыбнулся ей. Всем своим видом он как бы предлагал: поздравьте меня, и его беспокойные глаза, смешливые и добрые, хитрили с ней, точно фары подержанного автомобиля, который тут подкрасили, там навели блеск — и выставили продавать. И он бы убедил кого хотите в том, что на сей раз поступил умнее некуда, — кого угодно, только не ее. — Я уволился.

Знакомая история. Каждый год эта роковая фраза оглушала отца, подтачивая его последние силы. Отец боялся подходить к телефону: «Я уволился». «Я уволился...» — и в

голосе даже гордость, словно совершен похвальный поступок, а потом пошли телеграммы с Востока, отец распечатывал их дрожащими пальцами. «Я уволился» — из Шанхая, «Я уволился» — из Бангкока, «Я уволился» — из Адена; он безжалостно подбирался ближе, ближе. До самой смерти отец верил буквальному смыслу этих телеграмм, которые не фамильярничали даже с близкими и были подписаны полным именем: Энтони Фаррант. Но Кейт — она знала больше, и за написанным слышала: уволили. Меня уволили. Уволили.

— Давай выйдем, — предложила она. Нехорошо унижать его перед

официантками. И опять эта гулкая внимающая тишина и провожающие взгляды. В дальнем конце платформы она начала расспросы. — Сколько у тебя денег?

— Ни гроша, — сказал он.

— Тебе же оплатили последнюю неделю. Если ты за неделю предупредил, что увольняешься.

— Собственно говоря, — протянул он, играя на фоне дымящегося металла, посвечивая себе зеленым огоньком семафора, ждавшего экспресс с восточного побережья, — собственно говоря, я ушел сразу. Вопрос чести, иначе было нельзя. Ты не поймешь.

— Возможно.

– И потом, до денег хозяйка поверит мне в долг.

– А сколько это протянется?

– А-а, через недельку что-нибудь найду. – Завидная вроде бы выдержка, а на деле полная беспомощность. Просто-напросто он уповал на то, что деньги сами подвернутся, и они-таки подворачивались: старый

однокашник узнал его на улице по галстуку, остановил, помог с работой; он сбывал родне пылесосы; он не постесняется обвести вокруг пальца неопытного провинциала; на крайний случай оставался отец.

– Не забывай: отец уже не поможет.

— Как прикажешь тебя понимать? Я не нахлебник. — Он вполне искренне верил, что никогда не был нахлебником. Брал займы — это да, его долги родным должны уже составлять приличную сумму, но это долги, а не подачки; в один прекрасный день его «проект» увенчается успехом — и он со всеми расплатится. Закрывшись от дыма и пережидая, когда пройдет экспресс, Кейт вспомнила некоторые его проекты: скупить в библиотеках старые романы и продавать в деревнях; грандиозная «посылочная» идея: специальная контора упаковывает рождественские подарки, сама разбирается с почтой —

и все за два пенса; собственного изобретения рукогрейка (в полую ручку зонта закладывается кусок раскаленного угля). Послушать его — вполне разумные проекты, не придерешься, за исключением одного несчастного обстоятельства: что он сам брался их осуществить. — Мне нужен только капитал, — объявлял он, и его оптимизма не могла поколебать даже мысль о том, что больше пяти фунтов ему никто и никогда не доверит. И тогда он пускался в предприятие без всякого капитала; по субботам и воскресеньям в доме появлялись странные гости: мужчины постарше, но в таких же школьных галстуках и тоже

бурлившие энергией, хотя потише. Потом дело сворачивали, и длинные и запутанные счета выявляли поразительную истину: потерял он ровно столько, сколько занял. — Будь у меня настоящий капитал! — сокрушался он, никого не виня и никому не возвращая долга. Новые долги прибавлялись к старым, но «нахлебником» он никогда не был.

Для тридцати трех лет, думала она, у него слишком молоджавое лицо, все еще лицо школьника, которое чуть подсушил морозный денек. Он и казался школьником, набегавшимся в холод за футбольным мячом. Его внешность раздражала ее, потому что должен, наконец, человек стать

взрослым, но прежде чем она решилась высказать ему все начистоту, у нее опять защемило сердце от его нелепой наивности. Он был безнадежно беспомощен в мире бизнеса, который она так хорошо знала, в котором чувствовала себя как рыба в воде; он был только способный ребенок среди способных на все взрослых людей — он обманывал, но по мелочам. Свыше тридцати лет читала она его мысли, переживала, как свои, его страхи, и знала, что он способен обнаружить неожиданные качества. Есть вещи, которые он никогда не позволит себе сделать. И в этом, подытожила Кейт, они совершенно разные. — Слушай, —

сказала она. — Я не оставляю тебя здесь без денег. Поедешь со мной. Эрик даст тебе работу.

— Я не знаю языка, а кроме того, — он налег обеими руками на зонтик и улыбнулся беспечной улыбкой обладателя тысячи фунтов на текущем счету, — я не люблю иностранцев.

— Дорогой мой, — взорвалась она, — твои взгляды устарели. В таком деле, как «Крог», иностранцев нет. Мы там все интернационалисты, без родины. Это тебе не пыльная контора в Сити, где двести лет заправляет одна семья. Нет, иногда с ним можно говорить — все понимает с полуслова. — Сокровище мое, —

ответил он, – может, это как раз по мне. Я тоже пыльный, – уронил он, обтекаемо предупредительный, с застывшей улыбкой на лице, в щеголеватом и единственном приличном костюме. – Кроме всего прочего, у меня нет рекомендаций.

– Ты же сказал, что уволился.

– Ну, все не так просто.

– А то я не знаю.

Они отступили в сторону, пропуская тележку.

– Умираю с голоду, – признался

Энтони. – Одолжи пять шиллингов. –

Поедешь со мной, – повторила она. –

Эрик даст тебе работу. Паспорт у тебя есть?

– Где-то валяется.

– Надо забрать.

Огни прибывающего поезда залили его лицо, и она с сокрушительной нежностью увидела на нем растерянность и испуг. Он голоден, у него нет даже пяти шиллингов, а то бы он, конечно, никуда не поехал. Что он тоже пыльный – это видно: столичная пыль запорошила ему глаза, все ему здесь по душе – клубы дыма и пара, мраморные столики, шутки у пивной стойки; он был своим человеком в случайных, на одну ночь, гостиницах, в подвальных конторах, – встречал в сомнительные предприятия, якшался с маклерами. Если бы я не встретила Эрика, подумала она, то и мне

пылить бы по этой дорожке. — Возьмем такси, — сказала она.

За окном тянулись велосипедные магазины на Юстон-роуд; по-осеннему зябко мерцало электричество за клаксонами, спицами и банками с резиновым клеем; на ночь велосипеды заводили в помещение, огни гасли, и все погружалось в зимнее оцепенение.

— Да, — вздохнул Энтони. — Красиво, а? — Сколько осенних примет: откуда-то прибившиеся листья на станции метро Уоррен-стрит, отблеск фонаря на мокром асфальте, бледный огонь дешевого портвейна в старушечьих руках. — Лондон, — вздохнул он. — Другого

такого нет. – И прислонился лбом к стеклу.

– К черту, Кейт, не хочу я никуда.

По этой фразе она поняла, какой ад у него в душе. «К черту, Кейт». Она вспомнила темный сарай, луну над стогами сена и брата, мнущего в руках школьную фуражку. У них столько общих воспоминаний, сколько наживет разве только супружеская пара за тридцать лет совместной жизни. «Тебе надо идти», и только когда он совсем пропал из виду, сама вернулась в свою школу, где ее ждали забывшая про сон учительница, двухчасовой допрос и запись в кондуите.

– Поедешь без разговоров.

— Ну, конечно, тебе лучше знать, — сказал Энтони. — Как всегда. Я сейчас вспомнил нашу встречу в сарае. — Смотрите, он и впрямь способен иногда на интуицию. — Я написал тебе, что убегаю из школы, и мы встретились — помнишь? — посередке между нашими школами. Было часа два ночи. Ты погнала меня обратно.

— Скажешь, я была не права?

— Конечно, — сказал он, — конечно, права, — и посмотрел на нее таким пустым взглядом, что впору усомниться, слышал ли он вообще ее вопрос. Глаза пустые, как форзац после страшного или грустного конца.

– Прибыли, – сказал он. – Рад видеть вас в моих скромных апартаментах. – Ее покорило его заученно веселый тон, в котором не было ни смирения, ни радушия: он просто отбарабанил азы торгового ученичества. Завидев их, хозяйка улыбнулась и громким шепотом предупредила, что не будет беспокоить, и Кейт начал понимать, что сделала с ним жизнь за время их разлуки.

– У тебя есть шиллинг на газ?

– Это ни к чему, – сказала она. – Не будем рассиживаться. Где твои чемоданы?

– Вообще-то говоря, я их вчера заложил.

– Ладно. Купим что-нибудь по дороге.

– Магазины уже закроются.

– Значит, будешь спать одетым.

Где паспорт?

– В комоде. Я сейчас. Садись на кровать, Кейт. Присев, она увидела на столе фотографию в плохонькой рамке: «С любовью, Аннет».

– Это кто. Тони?

– Аннет? Милая была девчушка. Пожалуй, я возьму ее с собой. – Он стал отдирать картонку сзади.

– Оставь ее тут. В Стокгольме найдешь других.

Он взглянул на строгое глянцевоe личико.

– Классная была девушка, Кейт.

– Это ее духами пахнет подушка?

– Нет, не ее. Она давно уже здесь не была. У меня кончились деньги, а девочке надо как-то жить. Где она сейчас – один Бог ведает. Из своей трущобы ушла. Я там был вчера.

– Когда продал чемоданы?

– Ну да. Знаешь, такую девушку теряешь раз и навсегда. Ушла – и пиши пропало. Странная какая штука: ты привыкаешь к ней, вы любите, друг друга, еще месяц назад она была рядом – и вдруг не знаешь, где она, жива ли вообще.

– Чьи же тогда духи? Может – этой?

– Да, – ответил он, – этой.

– Похоже, она не первой молодости?

– Ей за сорок.

– Куча денег, конечно?

– Да, в общем она богата, – ответил Энтони. Он взял в руки вторую фотографию и невесело рассмеялся. – Ну и парочка мы, Кейт: у тебя Круг, у меня Мод. – Она молча смотрела, как он, согнувшись, ищет в ящике паспорт; он сильно раздался в плечах со времени их последней встречи. Она вспомнила официанток, их взгляды поверх полотенец, тишину, обступившую их разговор. Трудно поверить, что ему приходится покупать девушку. Но вот он

повернулся лицом, и его улыбка сказала все; он носил ее как прокаженный носит свой колокольчик; улыбка заклинала не верить ему.

— Ну, вот. Паспорт. А он точно даст работу?

— Точно.

— У меня нет блестящих способностей...

— А то я не знаю, — сказала она, впервые за встречу выдавая голосом силу своей горькой любви.

— Кейт, — сказал он, — глупо, конечно, но мне что-то не по себе. — Он бросил паспорт на кровать и сел рядом. — Мне надоели новые лица. Насмотрелся. — В глубине его глаз

колыхнулись шеренги соклубников,
спутников, собутыльников,
начальников.

– Кейт, – сказал он. – Ты-то не подкачаешь?

— Никогда, — ответила она. Это можно было обещать твердо. Освободиться от него уже не получится. Он был больше, чем брат; он был духом предостерегающим: смотри, чего ты избежала; он был жизнью, которую она упустила; он был болью, ибо ей было дано чувствовать только его боль; еще он был страхом, отчаянием, позором — все потому же. Он был для нее всем на свете, кроме успеха.

– Хорошо бы ты осталась со

мной здесь!... — «Здесь» — это двойная шкала на газовом счетчике, грязное окно, растеньице с длинными листьями, бумажный веер в пустом камине; «здесь» — это пахнущая подушка, фотографии приятельниц, заложенные в ломбард чемоданы, пустые карманы, «здесь» значит: дома.

Она сказала:

— Я не могу уйти из «Крога».

— Круг даст тебе работу в Лондоне.

— Нет, не даст. Я нужна ему там. — «Там» — это стекло и чистота без единой пылинки, современнейшая скульптура, звуконепроницаемые полы,

диктофоны, оловянные пепельницы и Эрик, в тихой комнате принимающий сводки из Варшавы, Амстердама, Парижа и Берлина.

— Ладно, едем. Деньжата, значит, у него водятся?

— Водятся, — ответила она, — водятся.

— И вашему преданному слуге что-нибудь перепадет?

— Перепадет.

Он рассмеялся. Он уже забыл, что боялся увидеть новые лица. Он надел шляпу, заглянул в зеркало, поправил платок в нагрудном кармане. — Ну и парочка мы с тобой! — Он поднял ее с кровати и поставил на пол, и она была готова

петь от радости, что они снова парочка, но его вид охладил ее: он был настораживающе благопристойен, искусненно наивен и такой неуместный в этом старом школьном галстук.

— Что это за галстук? — спросила она. — У вас же... — Нет-нет, — ответил он и так стремительно обрушил на нее правду, что она не могла устоять перед обаянием, которое ей было неприятно в нем. — Я себя повисил в чине. Это галстук Харроу.

Компания поставила мне еще виски. Всем хотелось знать, как все произошло. Несколько недель назад они едва разговаривали со мной, говорили — мне еще повезло, что меня не выставили из клуба, раз я претендовал на воинское звание, которого, кричали они, у меня не было. Тротуар под окнами нещадно накалило солнце, в тени лежал нищий и облизывал свои руки; я до сих пор не могу понять, зачем он лизал себе руки. Капитаны принесли виски, майоры подсели ближе, полковники просили рассказывать не спеша. Генералов с нами не было, они, наверное, спали в своих

кабинетах, потому что время
близилось к полудню. Все успели
забыть, что я никакой не капитан,
все почувствовали себя
коммерсантами.

Рыбацкая лодчонка с желтым
фонарем, укрепленным на высоте
человеческого роста, покачивается на
зыбкой волне, и в бледном свете
человек, опустившись на колени,
выбирает сети; вокруг него море,
темнота, мы проплываем, сверкая
огнями, у нас играет граммофон. Я
рассказывал этим парням в клубе,
как оказался на тротуаре, когда кули
бросил бомбу. Сломалась тележка
посреди дороги, автомобиль
министра притормозил — и тут кули

бросил свою бомбу, но я, если говорить честно, этого не видел, я только слышал грохот на крыше и увидел, как задрожали сетки на окне. Я нервничал: сколько виски они выставят? Очень это обидно — смотреть, как другие играют в бридж, а перехватить денег не у кого. Тогда я сказал, что меня контузило, и они заплатили за три виски, и составила партия, и я выигрывал уже два фунта с чем-то, но тут вошел майор Уилбер, а уж он-то знал, что меня там и близко не было. Запах виски из курительной комнаты, вкус соли на губах. Играет граммофон, опять новые лица.

Пришлось отправиться в Аден.

Сдирая с кролика шкурку в зарослях дрока на пустыре, я на секунду зажмурил глаза, нож сорвался и полоснул меня под левым глазом. Мне прожужжали уши, что надо было резать от себя, как будто я не знал, и что теперь я наверняка потеряю глаз. Я умирал от страха, и еще отец дома болел, а потом пришла Кейт. Салатные стены спальни, надтреснутый колокольчик звонит к чаю, я лежу с перевязанным лицом и слышу, как по каменным ступеням спускаются ребята. Они шумят перед комнатой экономки, берут яйцо со своим именем, написанным химическим карандашом на скорлупе,

колокольчик снова тарахтит, сейчас его зажмут рукой. И тишина, как на небесах, и до прихода Кейт я лежу совсем один. Человек бежал по крышам, и по нему стреляли с улиц и из окон. Он прятался за трубами, скользил в лужах, оставшихся на плоских крышах после дождя. Руки он держал на задуге, потому что порвал штаны на этом месте, дождь заливал ему лицо. Это был первый дождь, но я мог уверенно сказать, что он зарядил на несколько недель, потому что и небо было такое, и парило, и на тыльной стороне рук выступал пот. — Кейт, — окликнул я — и вот она, я знал, что она придет, и мы сидим одни в сарае.

За тридцать лет набралось о чем подумать: и что видел, и что слышал, что наврал и что любил, и чего боялся, чем восхищался, чего желал и что бросил за мягко вздымающимся морем и пропавшим маяком, — что промелькнуло, как маленькая станция метро, пустая и ярко освещенная ночью: никто не выходит, поезд не останавливается.

Я надеялся — может, там разговаривают, но гудки были длинные, и под выжидательными взглядами очереди я набрал номер четыре раза из будки на Серкус-сквер; три раза я не забывал нажать кнопку и вернуть монету, а на четвертый, когда стало ясно, что там

никого нет, – забыл. Кому-то подарил бесплатный звонок, а какгодились бы мне сейчас эти два пенса. Можно, конечно, кинуть орла или решку и выиграть на выпивку. Но на пароходе подобрались одни шведы, а иностранцы спорта не любят, да и языка я не знаю.

Новые люди, а старые ушли, умерли или болеют и умирают; на улице вывеска: «Сдается». Я нажал кнопку, но звонка не последовало – на площадке отключили электричество. Стена была испещрена карандашными записями:

«Зайду позже», «Ушла в булочную», «Оставьте пиво у двери», «Вернусь в понедельник», «Сегодня

молока нет». На стене почти не было живого места, все надписи перечеркнуты, кроме одной, которая казалась старой, но вполне могла быть недавней, потому что написано было: «Милый, я скоро. Буду в 12:30», и тогда я бросил ей открытку, что приду в половине первого. Я прождал два часа, сидя на каменных ступенях возле двери на последнем этаже, но никто не пришел.

Шаги на каменных ступенях, беготня, драка и толчея у дверей спальни; Кейт уже ушла, комната набилась битком, и старосты тушат свет. Даже ночью ни минуты покоя, потому что за перегородкой кто-нибудь обязательно разговаривает во

сне. Я лежал, блаженно потея, без сна, забыв о боли под левым глазом, и каждую минуту ожидал, что кто-нибудь бросит губку, шелохнутся занавески, чья-то рука сдернет одеяло, кто-то захихикает и по полу зашлепают босые ноги.

Старые лица, лица ненавистные и любимые, еще живые или уже мертвые, больные и умирающие, за тридцать лет голова полным-полна всякого хлама, пароход, вздымая нос, идет в открытое море, позади маяк, играет граммофон. Вниз по каменным ступеням, в кармане деньги, которые ради нее доставал; тридцать шиллингов в мою пользу, раз ее нет; такие если уходят, то

уходят навсегда, пиши пропало. Теперь увешивай комнату фотографиями киноактрис, вырезай портреты из «Болтуна»: «Неизвестный поклонник рассчитывает получить ваш автограф на этом портрете. Прилагаю шиллинг на почтовые расходы». В Голливуде до черта шлюх, но моя лучше всех. Несчастье делает человека богаче; и шиллинги при мне, и идти никуда не надо. Я, конечно, сразу понял, в чем дело, когда мне передали: «Вас вызывает директор». Я ждал этого со дня на день и каждое утро надевал свой лучший костюм и до блеска чистил зубы. Кто-то мне сказал однажды,

что у меня ослепительная улыбка, хотя я никогда не обезьянничал у зеркала, не гонялся за новейшей пастой и не обивал пороги дорогих дантистов. Мужчина должен следить за своей внешностью не меньше, чем женщина. Часто это его единственный шанс. Сошлюсь на Мод.

Ей даже не за тридцать, а под сорок, блондинка, с рыхловатым бюстом. — Есть вещи, которые мужчина не сделает, — сказал я. — Например, взять у женщины деньги, — и она прониклась уважением, дарила подарки, а я их продавал, когда были нужны наличные. Мы встретились в метро.

На всем пути от Эрлз-Корт до Пикадилли через весь вагон присматривались друг к другу; у меня был дырявый носок и я не решался закинуть ногу на ногу. Не торопились. Неторопливый подход. Только на эскалаторе встали рядом. И как быстро все получилось с Аннет! Позвонил в квартиру, ждал, что откроет другая, а открыла она, и я подумал: «Классная девушка». Когда я открыл дверь, он сделал вид, что пишет: старый трюк, когда хотят указать тебе твоё место, и причем всегда срабатывает. — А, мистер Фаррант, — сказал он. — Хочу поговорить с вами о жалобе, которая поступила ко мне от

грузоотправителей. Я уверен, что вы внесете полную ясность в этот вопрос. — Он-то, может, и был уверен, только у меня такой уверенности не было.

И снова в путь, теперь в Бангкок.

Хлупает вода, граммофон молчит. На палубе погашены огни, пусто.

Поучения! Господи, сколько можно учить! Одна Кейт человек, скажет: сделай это, сделай то, а чтобы изводить разговорами — никогда. Еще Аннет, ровная, спокойная и такая нежная в неурочном полумраке задернутых штор. Мод учит, отец учит, директор учит. Боже милостивый, я — Энтони

Фаррант, и я не глупее вас. Я могу сложить в уме две колонки цифр, результат помножить на три и вычесть первое попавшееся число. Даже директора ценили во мне эту способность. — Прекрасно, — отзывались они поначалу, — прекрасная работа, мистер Фаррант, — потому что я клал деньги в их карман, а стоило позаботиться о себе, как они сразу попросили внести ясность в это дело.

Чайная афера. Триста неприкаянных мешков испорченного чая, а на улице стрельба. Я скупил большую партию почти даром, а потом им же продал за настоящую цену. Тем и хороша революция, что

деньги валяются под ногами. Зато после на меня косились и уже ни в чем не доверяли. В спальне шепот:

— Жилет был в раздевалке. Честь пансиона, — порка связанными в узлы полотенцами, грохот по крыше, шелест бумажных занавесок на окнах, испорченный чай, на улицах стрельба, — честь фирмы. Пришлось отправиться в Аден.

Все улеглись: ночь холодная, под белесой пеной, словно срезаемой ножом, не видно воды. На нижней койке кто-то всю ночь бормочет на незнакомом языке, наступает новый день, серый и ветреный, хлопают парусиной шезлонги, к завтраку сходится совсем мало народу;

колючий подбородок, унылая
жизнерадостность коридорных,
девушка с волосами Греты Гарбо
прогуливается в одиночестве, запах
машинного масла и пропасть
времени до обеда. Кейт думает о
Кроге.

Откуда, спрашивается, я знаю,
что она думает о Кроге? А вот знаю,
как знал тогда, что она придет в
сарай.

Она сказала:

— В Гетеборге переночуем, — а я
почувствовал, что она чем-то
обеспокоена.

Я выскользнул из спальни как
будто в уборную. Под халатом я был
одет, ботинки и носки сунул за

пазуху, на ногах домашние тапочки. Через прохудившуюся подошву покусывали холодные каменные ступени. Оставил халат в уборной и послушал под дверь заведующего пансионом. Мне везло. Он ушел ужинать, а окна у него были без решеток. Но Кейт отослала меня обратно, и я послушался. Подмороженная дорога, запах вянущих листьев, чистое небо и счастливое чувство, что все позади; ухабистый проселок, хруст веток под ногами, огни машин на шоссе и горькое чувство, что все по-старому. Думает о Кроге. "Пользуйтесь изделиями «Крога». Самая дешевая и лучшая марка – «Крог». Так было

десять, нет, пятнадцать, погодите — двадцать лет назад, когда няня таскала меня с собой по хозяйственным магазинам; в дверях свисали корзины, приходилось наклонять голову, потом идешь, задевая банки с порошком от сорняков, таращишь глаза на жнейки, а няня тем временем закупает «Крог». Теперь они уже не самые дешевые и не самые лучшие — они просто единственные. «Крог» во Франции, в Германии, в Италии, в Польше — всюду «Крог». Покупайте «Крог» теперь означает: покупайте акции — дивиденды десять процентов и повышение каждый божий день. Я бы тоже мог стать известным и

богатым, как Круг, если бы мне доверяли, как доверяют Кругу, если бы мне ссудили капитал; а то сунут пять фунтов и ждут, что я им в ножки поклонюсь. Любой мой проект обещал состояние, если бы мне доверяли. Попробовал бы Круг продать хоть одну сотню мешков испорченного чая.

Но мне никогда не доверяли.

Когда вошел Уилбер, бесплатное виски кончилось; меня с треском выставили из клуба. Есть на свете город Коломбо. Серое море, телеграммы домой, бандит за трубой на крыше, побег из школы, отзвенел надтреснутый колокольчик, погас свет, жалобы грузоотправителей,

грохот разорвавшейся бомбы; сотня мешков испорченного чая, маленький китаец офицер в очках с золотой оправой, дымящий дешевой сигаретой, зеленые стены спальни, серое море, хлопанье парусины на шезлонгах, Кейт думает о Крое; Круг в каждом доме, как всемогущий Господь Бог; в самой жалкой норе без «Круга» как без рук; «Круг» в Англии, в Европе, в Азии, но и Круг живой человек, как все мы, как сам Господь всемогущий Бог.

Кейт слышала Энтони много раньше, чем отыскала его столик. Мажорные, располагающие звуки его голоса она слушала с ревнивым обожанием, влюбленно негодуя. Успел обзавестись друзьями, подумала она, на два часа оставила одного в Гетеборге – и он уже нашел себе друзей. Не знаешь, завидовать или стыдиться такой способности.

Поначалу, казалось ей, незнакомая северная страна озадачила его после всего, что он перевидал в тропиках. Притихший проходил он мимо серых громад строгих зданий, вытянувшихся вдоль опрятных каналов. Регистрируя на

вокзале багаж, она заметила, как он косится на клумбы цветов в путевых тупиках. На улицах каждому фонарю полагался букет, как примадонне. Воздух влажный и серый.

А он, оказывается, осваивался; он перевидал столько портовых городов, что ей не счесть. Когда она сказала:

— Теперь я тебя покину до обеда, — дала ему денег и растолковала, как найти ресторан, где они встретятся, он только рассеянно кивнул в ответ, поправил трофейный галстук Харроу, вздернул подбородок, распрямил широкую спину и решительным шагом углубился в первую попавшуюся

улицу; он не имел ни малейшего представления о том, куда она ведет.

Получилось, что она вывела к друзьям, на что он, видимо, и рассчитывал.

Он уже нашел общий язык с новой страной.

— И тут бомба взорвалась, — рассказывал он. — Попросту говоря, кули уронил ее себе под ноги. Его потом по кускам собирали по всему городу. Мой голос спугнул его.

Кейт не спеша подходила к ступенькам террасы. В саду были расставлены столики, с маленькой эстрады напротив человек сметал мокрые листья. В глубине лежал большой барабан с пропоротой

кожей. — А министр? — спросил девичий голос.

— Ни единой царапины.

Энтони сидел, облокотившись на перила; он прекрасно выглядел; его цветущий вид словно укорял природу, начавшую зимние хлопоты. Издали его можно было принять за школьника. Немного отсев от стола, на котором стояли пустые стаканы, трое туристов глядели ему в рот: пожилой мужчина, пожилая женщина и девушка. Пустое блюдо из-под smorgasbord и четыре грязных тарелки свидетельствовали, что с обедом покончено. — А вот и моя сестра, — сказал Энтони. Ей бы чуть задержаться, не заставляя его

глотать очередную реплику искателя приключений. Растерявшись, он забыл о вежливости и продолжал сидеть, когда те трое встали; впрочем, ее отвлекли рукопожатия и движение стульями. — Мистер Фаррант был так любезен, что познакомил нас с Гетеборгом, — сказала пожилая дама. Кейт перевела взгляд на его лицо — замкнутое, настороженное и сразу потерявшее свое обаяние. — Он провел нас по всему порту, — объяснил пожилой господин, — показал склады.

— А сейчас, — вступила девушка, — рассказывал, откуда у него этот шрам. — Мы думали, — пояснила дама, — что это с войны. — Они

нервничали, конфузились: им хотелось убедить ее, что они не замыслили ничего дурного против ее брата; они защищали его от упрека, что он так легко сошелся с незнакомыми людьми.

— Но революция — это даже интереснее, — сказала девушка. Кейт бросила на нее внимательный взгляд, и мысль: «Бедняжка, она тоже попалась» больно кольнула ее, хотя она не упустила отметить все, что говорило не в пользу девушки: большие невыразительные глаза, влажная полоска неумело накрашенного рта, худые плечи, сухие пятна пудры на шее. Она вспомнила Аннет, вспомнила Мод, с

трудом втиснувшуюся в рамку, дешевый запах на подушке; ему всегда нравилось, что попроще.

— Его обязаны были наградить, — сказала девушка, — все-таки спас министру жизнь.

Кейт улыбнулась Энтони, заерзавшему на стуле. — Так он вам не сказал? Какой скромный. Его наградили орденом Небесного Павлина второй степени.

Они приняли ее слова за чистую монету и даже заторопились уходить. Им не хотелось злоупотреблять его временем, это может помешать будущей встрече. Они рассчитывали увидеть его в Стокгольме. Дама поинтересовалась, сколько они там

пробудут.

— Мы там живем, — ответила Кейт.

— Вот оно что, — сказал мужчина.

И, помедлив:

— Мы из Ковентри. — Такие, как он, любят, чтобы взаимная информация была равноценной. Он глядел на нее прищурившись, словно следил за колебанием чутких лабораторных часов: нужна еще гирька. — Наша фамилия Дэвидж. — Жена за его спиной одобрительно кивнула: теперь правильный вес. Деликатная операция кончилась, она облегченно вздохнула и отдалась другим заботам: глядясь в большое зеркало на противоположной стене,

одернула платье, убрала выбившуюся прядь, разгладила перчатки, намекая, что они уже уходят. – Вы туристы? – спросила Кейт, отметив, что у девушки хватило проницательности угадать враждебность там, где ее родители видели только вежливость, хотя, казалось, она была совершенно лишена их деликатности и как бы даже сознательно компрометировала их спокойные тона и скупые детали ярким цветом неудачно выбранной помады.

– Мы индивидуальные туристы, – мягко уточнил Дэвидж. – Надеюсь, мы еще увидимся, – с намеренной неопределенностью сказала Кейт.

Девушка медлила. Уже родители с преувеличенной стариковской осторожностью сошли на бурый клочок земли между верандой и изувеченным барабаном, а она все стояла как вкопанная. Она напоминала ярко раскрашенного идола, деревянного идола весьма прозаического назначения, — может, об нее гасят окурки.

— Я могу во вторник, — сказала девушка.

— Отлично, — одобрил Энтони, поигрывая вилкой. При виде ее вопиющей неискушенности Кейт ощутила жалость к девушке, что было некстати, поскольку Энтони должен помнить, от чего его уберегли, а эта

девушка была явлением того же порядка, что свет за окнами велосипедных магазинов, листья на мостовой Уоррен-стрит, портвейн в «Дамском баре». — Значит, во вторник тебе удобно, — сказала Кейт, провожая взглядом воссоединившуюся троицу. — Оказывается, ты спас жизнь министру. — Что-то надо плести, — ответил Энтони, — они заплатили за обед.

— Я накормила тебя завтраком, но мне ты почему-то ничего не плел. — Ну, Кейт, — сказал он, — ты и так знаешь все мои истории. Сколько я писал...

— Брось, — оборвала Кейт. —

Писал ты очень редко. Телеграммы отцу, открытки с видами, очень много открыток – из Сиама, Китая, Индии. А писем что-то не помню.

Он улыбнулся.

– Забывал бросить их в ящик.

Погоди, я же написал тебе большое письмо, когда поздравлял с работой в «Кроге».

– Открытка.

– И когда отец умер.

– Телеграмма.

– А это, кстати, дороже. Ради тебя, Кейт, я не останавлиюсь перед расходами. – Он посерьезнел. – Бедняжка, ты осталась без обеда. Я подлец, что не дождался, но они же пригласили. Захотел сэкономить. –

Тони, – сказала Кейт, – если бы ты не был моим братом... – Она оборвала фразу, не стала прояснять. Какой смысл! – Ты бы влюбилась в меня по уши, – ответил Энтони, послав ей взгляд, которым он одарил уже стольких официанток: в нем точно отмеренная заинтересованность, точно рассчитанное простодушие, каждое слагаемое обаяния не раз успешно испытано и готово к применению. Если бы можно было повернуть время вспять, подумалось ей, если бы можно было стащить с пальца кольцо, подарок Крога, и отменить все это – тот большой барабан, падающие листья и мое лицо в зеркале; и пусть снова станет

темно, снаружи задует ветер, запахнет навозом, и он будет стоять передо мной с фуражкой в руке, только теперь я бы сказала:

– Не возвращайся. Наплевать на всех. Не возвращайся, – и все пошло бы по-другому.

– Славная девчушка, – сказал Энтони. – Поверила всему, что я сказал. Такую ничего не стоит околпачить, – и она уже видела, как в мыслях он идет пригородными улицами, звонит в двери, впускается с черного хода. И следя, как он поправляет галстук выпускника Харроу, приводит в порядок обаяние и укрепляется в своих надеждах, она опять была заодно с ним и только

старалась понять – мужество это или просто уверенность в том, что рано или поздно что-нибудь непременно подвернется.

Сейчас подвернулась я. Мысль, как они сработаются, отогнала ревность и страхи. Он умен, этого никто не отрицал, а у нее сильный характер, в этом тоже еще никто не усомнился. У нее была хватка, она умела зацепиться. Пять лет в пыльной конторе в Кожевенном ряду, потом в «Кроге», потом у самого Крога.

– Выпить бы чего-нибудь, – сказала она, – в горле пересохло, – и когда принесли стаканы, – за наше сотрудничество.

— Не пей залпом, Кейт, — облизнув губы и знаком отпустив официанта, сказал Энтони. Он не одобрял, ему не нравилось, когда девушки пьют, он перенял условности старшего поколения. Конечно, пить и прелюбодействовать не возбраняется. Но порядочный мужчина не соблазнит сестру своего друга, а «приличные девушки» не станут напиваться. Он воспринимал окружающее в свете этих великих принципов — первый обязателен для мужчин, второй — для женщин. Кейт чувствовала, как на его губах трепещет майорская наставительная мудрость, подхваченная им в клубных курилках. — Милый Тони, —

выдохнула она, — ты прелесть. — От ее проницательности ему стало не по себе, он поежился.

— Тем более, — сказал он, — на пустой желудок. — Нет, это восхитительно: вечное невезение не поубавило ему гонора; какого-нибудь застенчивого горемыку — того давно бы уже сокрушило чувство неполноценности, а он с каждой неудачей только выше вздергивал подбородок. Даже в самые мрачные дни, с уверенностью заключила она, он не позволит себе распускаться; она представила себе, как он читает мораль Аннет, учит Мод меньше пить. Порвись у него рукав — он отправится искать гвардейский бант.

Когда умер отец, она была в Стокгольме, а он на последние деньги успел прилететь из Марселя, куда вернулся из Адена. Чинный и торжественный, он бы наверняка вызвал восторг во всех клубах, из которых его выставили. Она вспомнила телеграмму: «Отец тихо скончался в субботу ночью» — эта невозможно избитая фраза ввела его в чудовищные расходы, дальше пришлось ужимать и хитрить с пунктуацией, и вторая половина текста была невразумительна: «Сожалению переезда вещей Мейбл неприятность тчк рассчитал слугу зпт болезни головы тире Голдсмит утвердительно». Как потом

выяснилось, он припас для отца новость о своем увольнении; склонившись над спинкой кровати, он ободрял больного улыбкой, жизнерадостным видом; для сиделки он принес осушаемую слезу, для родственников черный костюм, последний чистый воротничок — для священника и стряпчего. Постоянная тема телеграмм и почтовых открыток обрела наконец человеческий голос; он снова дома, он уволился; тут затронут вопрос чести, но это не каждому объяснишь. — Ты о чем задумалась? — спросил Энтони, и было ясно, что к нему вернулось душевное равновесие и он стоял, так сказать, у нового порога, будоража

себя надеждой и желанием выказать свои коммерческие способности. — Я вспомнила отца, — сказала Кейт.

— Отец! — отозвался Энтони. — Вот бы кто порадовался, что мы вместе. Тут он прав. Отец не переставал жалеть, что Энтони подолгу живет за границей; он считал, что брат должен быть защитником сестры до замужества. Старик знал, что говорил: с моим братцем, рассуждала Кейт, не пропадешь, он выберется из любой ситуации. И в забегаловке, и в полицейском участке трудно пожелать лучшего советчика или адвоката. Что замечательно — он безошибочным чутьем находил

черный ход или человека, которому надо дать взятку. Пройти огонь и воду без единой царапины – на такое способен только Энтони.

Он осматривался, оценивая обстановку, живой, энергичный, обнадеженный. – А что здесь делают вечером? – спросил он и, опережая ее мысли, соврал:

– Я имею в виду – кино, мюзик-холл. В портовом городе нужно быть особенно осторожным. – Неожиданно поскучев, он окинул взглядом сиротский садик, заброшенную эстраду, дырявый барабан, кружащиеся листья, шаркающую метлу. Привычно и безошибочно сообщив лицу

выражение чистейшей невинности, он выжидательно уставился на Кейт.

– Неужели тебе трудно побыть самим собой? – вздохнула Кейт. У нее защищало в глазах от одиночества. Как больно отпускать его за эту наскоро положенную штукатурку респектабельности – так же больно было впервые отпускать его за границу: на крыше кэба горбится саквояж, в тесной захламленной прихожей срывает замки набитый чемодан, на ковре змеится пояс от пижамы; прощание у подставки для зонтов перед дверью с цветными стеклами. Тогда хоть не было обмана, они были открыты друг другу, как пять лет назад, в том

темном сарае; он был бледен, напуган, он едва не расплакался, когда она сказала, что пора, не то он опоздает на поезд, быстро поцеловала и почувствовала, как все в ней оборвалось, когда он сладил наконец с капризной дверцей кэба и, отчаянно трясясь на черных вытертых подушках, увез вторую половину ее самой. Все-таки утешала мысль, что он будет писать, а он ограничился открытками: «Это прелестное место», «Здесь мы купались», «Мое окно отмечено крестиком», и раз от разу все больше балагурства, странные обороты речи, прилипавшие к нему, как защитная окраска, и в какой-то момент

понимаешь, что он пропал, растворился среди мелких авантюристов, которых только недостаток смелости спасает от тюрьмы. Но даже в почтовых открытках, подумалось ей, он не был таким далеким, как сейчас, и, скрывая растерянность, она вынула из сумочки пудреницу.

— Неужели ты не можешь побыть самим собой? — повторила она, напрасно гадая, какими уловками Аннет и Мод вырывали у него минуту искренности. — Сегодня, — продолжала она, — мы напьемся и поедем в Лизберг.

Он недоверчиво поморщился:
— А что это за место?

– Вполне приличное, – ответила Кейт. – Там мило и просто. Можно потанцевать, пострелять, встряхнуться на американских горах. Конечно, скука по сравнению с тем, что тебе приходилось видеть, но если мы сперва выпьем...

– погоди, – прервал Энтони, – у нас еще не было серьезного разговора.

– О чем?

– Ну, есть масса вещей, – сказал Энтони. – Масса. Если ты раздумала обедать, то давай поищем спокойное место. – Он с придирчивым неодобрением обежал взглядом ресторан, пустые стойки, грязные тарелки. Нет, запротестовал он,

какое же это спокойное место — порт? — потому что после мисс Дэвидж ей тоже захотелось увидеть порт.

— Что ты привязалась к этой девушке? — возмутился он. — Можно подумать, что ты ревнуешь. Давай куда-нибудь поедемся. Тут есть парк? Они уже полчаса сидели на деревянной скамейке возле пруда, разглядывая уток; мальчишки выбирались из Гетеборга, толкая в гору велосипеды с ярко раскрашенными спицами. В домах на окраине парка один за другим вспыхивали огоньки, пронзительные и колючие, словно в темном кинозале чиркали спичками. Вода в

пруду зацвела, к птичьим бокам приставала ряска. — Ты привезла меня сюда, — начал Энтони, — но... — Он настороженно замкнулся, помрачнел. — Я никогда, не сделаю одной вещи: не буду нахлебником. Я им никогда не был.

— Эрик даст тебе работу.

— Ты прекрасно знаешь, что я не говорю по-шведски.

— В «Кроге» необязательно знать шведский.

— Кейт, — сказал Энтони, — я там пропаду. Мне бы что-нибудь попроще. На пароходе я думал об этом все время. Крогу от меня никакой пользы. У меня не будет случая показать себя. — Кружась,

слетел лист, задел его плечо и улегся между ними на скамейке.

– Видишь? – сказал Энтони. – Золотой. Побрезговал мною. – Он еще зеленый. Такой не считается. Смотри. – Кейт подняла лист и поднесла его к глазам, потому что уже стемнело. – Надкушен. Белка. Или птица какая-нибудь.

– Послушай, Кейт, сегодня утром в порту я видел объявление на английском языке. На склад нужен специалист-англичанин. Вести бухгалтерию. – Да, здесь ты, конечно, большой специалист.

– Я исписал тысячу гроссбухов.

– Эта работа без будущего.

Она только что просила:

«Побудь самим собой»; и сейчас, когда его лицо с трудом различалось в быстро похолодавшем воздухе, когда, зябко передернув плечами, она вспомнила: он без пальто, куда он дел свое пальто? — когда ее мысли отвлеклись на ломбарды и старьевщиков, он обезоружил ее своей искренностью: так останавливает нас за рукав приятель, которого мы давно забыли.

— У меня нет будущего, Кейт.

Он сидел притихший, не ломался, был наконец самим собой, и она дивилась этой перемене, лихорадочно соображая, как лучше использовать удачный момент. Она-то знала, что он человек

ненадежный, врунишка, плут в денежных делах, но чтобы он отдавал себе в этом отчет — этого она не подозревала.

Он повторил:

— Ты сама знаешь, Кейт: у меня нет будущего. Из воды, зябко нахохлившись, вышли птицы. Словно маленькие футбольные мячи, коричневые комочки перекатились через зеленый склон, припечатывая листья перепончатыми лапками.

— Не правда, — сказала Кейт; страх упустить момент боролся в ней с радостным чувством, что после стольких лет они наконец откровенны друг с другом. — Только слушайся меня. — Она думала: он в

моих руках, мой Энтони, главное — не упустить его теперь, сказать нужные слова, но сердце пересилило, и уже она сама сидит без пальто, без будущего, без друга, в чужом галстуке. Обнять, согреть его, но он уже заговорил. — Безусловно, — сказал он, — еще может повезти. Что-нибудь может подвернуться. — И она поняла, что момент упущен. Он был от нее так же далеко, как где-нибудь в шанхайском клубе или на площадке для гольфа в Адене. Трезвый взгляд на себя был лишь крохотным разрывом в сплошной пелене самообмана. Ей казалось, он ждет ее помощи, а ему нужен был только попутный ветерок, новая идея,

подходящее воспоминание. — Я рассказывал тебе про испорченный чай?

— Не помню. Холодно. Пошли. А что касается этого склада... Но уже вовсю дул благоприятный ветер. Он был готов признать, что ошибался, что в конце концов и у него есть какое-то будущее. — Понимаю, — сказал он, — тебе не нравится эта идея. — И беспечно рассмеялся:

— Ладно, дам твоему Кругу испытательный срок. Перед ней был человек, только что избежавший смертельной опасности. Спасение наполнило его бурной радостью, а когда он был в ударе, то скучать с ним не приходилось.

И хорошего настроения ему хватило на весь вечер. Он бросался из одной крайности в другую; ей повезло увидеть его в минуту грустную и искреннюю, но была особая прелесть в его беспечности и позерстве. Он рассказывал истории, которые начинались весьма не правдоподобно, но потом оживлялись яркими красками; вероятно, такими же баснями он кружил голову и Мод, и Аннет, и этой девушке Дэвидж.

— Постой, а я писал тебе про «фиат» генерального директора? — Нет, — ответила Кейт, — про «фиат» в открытках не было. — После двух рюмок шнапса она была готова

верить почти каждому его слову. Она подобрела к нему. Накрыв его руку своей, сказала:

— С тобой хорошо, Тони. Рассказывай. — Но прежде чем он заговорил, она заметила, что на его руке нет кольца (в день, когда им исполнился двадцать один год, им подарили по кольцу с печаткой — точнее, ему кольцо переслали, она уже не помнит куда, заказной почтой на адрес клуба).

— Где твое кольцо? Ты хоть получил его?

Она видела, как он примеривается к ее настроению, прикидывает, до какой черты можно рассказать. Неужели вечер сорвется,

забеспокоилась она. Нет, нужно бросать, скорее бросать эту привычку задавать вопросы. Но после стольких лет разлуки вопросы сами срывались с языка. — Не важно, — сказала она. — Продолжай. О машине директора. Ладонью левой руки Энтони покровительственно накрыл ее руку и уступчиво, искренне протянул:

— А знаешь, я лучше расскажу о кольце. Это долгая история, но любопытная. Ты, старушка, даже не подозреваешь, куда я попал через это кольцо.

— Не надо, — заупрямилась она, — не рассказывай. Расскажи о машине директора. Только сначала уйдем отсюда, здесь нам больше не дадут. —

Забавно было вести его через рогатки ограничительного закона и, вопреки предписанным нормам (мужчине – две стопки шнапса, женщине – одна), понемногу хмелеть.

– А теперь, – сказал он, – в Лизберг.

Канал, шелест воды у кромки заросших травой берегов, в темноте шепот парочек на скамейках, пустынная загородная дорога, спотыкающаяся вереница встречных звуков – не музыка, а словно где-то в далекой комнате настройщик вразброс нажимает клавиши рояля. Четким рисунком на посветлевшем небе выделялись башенки над крышами; звуки сложились в

мелодию, что-то колыхнувшую в памяти, и у входа с высокой аркой выплеснулось разбуженное ритмом, воспоминание (министр иностранных дел в высоком негнущемся воротнике подчеркнуто официально отвечает на ее тост, по террасе из уборной возвращается Круг, раскланиваясь на обе стороны, пары танцуют за стеклянными дверьми, звонкими и струящимися, словно канделябры). — Пошли, крошка, — сказал Энтони, — пошли разомнемся. Пьянея, он все дальше уходил в прошлое. Яркий и бесшабашный послевоенный жаргон к середине вечера подточила окопная сырость, это подали голос

отставники, в тени опахал толковавшие о Часе Наступления и «Виктории-палас», об отпусках и джазе.

Шипя, взмыла ракета, но на полпути от сырости потухла и уронила на землю хвост; пропилили танцевальных залов и ресторанов обступили площадь, где в просторном и неглубоком изумрудном бассейне резвился изумрудный фонтан: он тропическим деревом ввинчивался в холодное, глубокое, чистое небо, потом зеленой люстрой рушился вниз, выплескивая на дорожку серебристые осколки. Над крышами сверкнула пустая люлька американских гор, подвывая,

словно заезженная граммофонная пластинка. У дальних палаток доморощенные стрелки палили по мишеням.

— Сюда. Идем сюда.

По спокойной глади озера, усеянного сигаретными коробками, двигалось пиратское судно. Извивающаяся тропинка с высаженными вдоль нее цветами выводила к маленькой эстраде, где двое мужчин в белых халатах играли с желающими в шахматы, игра стоила полкроны. И где бы вы ни шли — по розовым или зеленым лужайкам или в умышленной темноте, — за музыкой и выстрелами различалось неумолчное шипение

скрытых прожекторов, на которые тучами летели мотыльки, чтобы оцепенеть на их пылающих вогнутых стеклах. Вверх к свету, вниз в темноту валится люлька американских гор; в полутемной палатке человек-фонтан с землистым Лицом и тюрбаном на голове выпускает струи воды через розовые стигматы на ладонях и ногах; великанши, гадалки, укротители львов; тучи мошкары, словно сдунутый пепел, проносятся своим путем, не отвлекаясь на тусклые плафоны в тесных павильончиках. Над крышами взлетает люлька американских гор; в воздухе разрывается ракета, просыпав в

темноту желтую канитель; зарядили ружья и выпалили стрелки.

— Для танцев ты уже не годишься, — сказала Кейт. — Слушай, — сказал Энтони, — выпьем еще по одной, и я возьму для тебя все призы, какие тут есть. Вон бросают кольца. Ты еще не видела, как я бросаю кольца.

На струе воды приплясывали разноцветные мячики для настольного тенниса. — А хочешь куклу? — загорелся Энтони. — Или ту стеклянную вазу? Ты скажи, мне это пара пустяков. Решай скорее.

— Идем бросать кольца. Ты же не умеешь стрелять. А тут надо сбить все пять шариков из пяти выстрелов.

В школе ты никогда не мог попасть в цель. — С тех пор я кое-чему научился. — Он взял с барьера пистолет, примерился к мишени. — Будь человеком, Кейт, заплати за меня. — Его возбуждала тянущая руку тяжесть пистолета. — Поверишь, Кейт, — сказал он, — мне нравится иметь дело с оружием. Работать военруком в школе или что-нибудь в этом роде.

— Оставь, Тони, — возразила Кейт, — ты всегда мазал мимо. — Она раскрыла сумочку и не успела достать деньги, как он выстрелил. Подняв глаза, она увидела, как желтый шарик свалился с острия водяной спицы. — Попал! — закричала

она. Необычайно серьезный, он только кивнул в ответ, перезарядил пистолет острой, похожей на перо, пулькой, быстро прицелился, опустив пистолет на уровень глаз, и выстрелил. Она заранее знала, что он попадет и в этот раз; он наконец давал представление, где конкурентов ему не было: стрельба на ярмарке. Она не видела, как падали, шарики, она смотрела на его лицо — серьезное, замкнутое и как бы исполненное чувства ответственности; его короткопалые, со сбитыми ногтями руки стали вдруг ловкими и мягкими, как у сиделки. Он сунул под мышку страховидную голубую вазу и снова

поднял пистолет. — Тони, — воскликнула она, — а с этим ты что собираешься делать? — это он положил к ее ногам игрушечного тигра.

Нахмурившись, он открывал магазин.

— Что ты говоришь?

— Что ты с ними будешь делать, с вазой и тигром? Ради бога, не выигрывай больше ничего, Тони. Пойдем выпьем. Он медленно кивнул; до него не сразу дошел, ее вопрос, его глаза замороженно возвращались к шарикам, пляшущим на вершине фонтана. — Ваза? — переспросил он. — А что, нужная вещь. Цветы и вообще.

– Ладно, а тигр?

– Пригодится. – На тигра он даже не взглянул, заталкивая в магазин пульки. – Если тебе не нравится, – сказал он, – я его кому-нибудь отдам. – Он выстрелил, перезарядил пистолет, снова выстрелил и опять перезарядил; шарики щелкали и падали, и сзади собралась маленькая толпа. – Отдам той девушке во вторник, – сказал он, вздохнул, показал на зеленый жестяной портсигар с инициалом "Э", опустил его в карман и отошел, сунув под мышки вазу и тигра. Кейт еле поспевала за ним.

– Куда ты несешься? – окликнула она его в спину, как свое переживая

его бездомность, когда он сказал:

— Эх, разве это может надоесть? — с отрешенным видом шагая под дуговыми лампами. — Однажды в выходной... С того дня все выходные у меня были далеко от дома.

— Как звали ту девушку?

— Забыл.

Она взяла его под руку, ваза выскользнула и упала, усыпав землю у их ног голубыми безобразными осколками — так разбитая бутылка кончает ночную пирушку.

— Не расстраивайся, — мягко сказал Энтони, привлекая ее к себе. — У нас остался тигр.

Бронзовые ворота разошлись в стороны, и Круг ступил в круглый дворик, Круг был в «Круге». Холодное и ясное послеобеденное небо накрывало коробку из стекла и стали. На глубину комнаты просматривались нижние этажи; вот работают бухгалтеры на первом этаже, от электрических каминов стекла отливают бледно-желтым цветом. Круг сразу увидел, что фонтан закончили; эта зеленая масса не давала ему покоя, обвиняла в трусости. Он уплатил дань моде, которой не понимал; гораздо охотнее

он увенчал бы фонтан мраморной богиней, нагим младенцем, стыдливо прикрывающейся нимфой. Он задержался получше рассмотреть камень; ничто не могло подсказать ему, хорошее это искусство или никакое; он его просто не понимал. Ему стало тревожно, однако он ничем не выдал себя. Его вытянутое гладкое лицо было похоже на свернутую в трубку газету: в нескольких шагах еще можно разобрать громкие заголовки, но неразличимы печать помельче, маленькие уловки, смутные страхи.

За ним наблюдали, он это чувствовал; через стекло смотрел из-за своей машинки бухгалтер, с

хромированного балкона глядел директор, официантка мешкала задернуть черные кожаные шторы в столовой для сотрудников. Над его головой быстро догорал день, и, пока он недоумевал перед зеленой статуей, закругленные стеклянные стены постепенно налились изнутри электрическим светом.

По стальным ступеням Круг поднялся к двойным дверям «Круга». Когда его нога коснулась верхней ступени, сработала пружина и двери распахнулись. Входя, он наклонил голову — многолетняя привычка: в нем было шесть футов два дюйма росту, он никогда не горбился, и пригибать голову в дверях его

приучила жизнь в тесной однокомнатной квартирке, когда он только начинал. Ожидая лифта, он постарался выбросить из головы статую. Лифт был без лифтера – Круг любил остаться один. Сейчас он был за двойной скорлупой стекла, за стеклянной стеной лифта и стеклянной стеной здания; словно ненадежный сотрудник, правление изо всех сил старалось быть прозрачным. Тихо и бесшумно возносясь на верхний этаж, Круг еще видел фонтан; тот удалялся, уменьшался, распластывался; когда скрытые светильники залили дворик огнем, грубая масса отбросила на гладкий мощеный круг нежную, как

рисунок на фарфоре, тень. Со смутным чувством сожаления он подумал: что-то я упускаю.

Он вошел в кабинет, плотно притворил дверь; на письменном столе, выгнутом по форме стеклянной стены, аккуратной стопкой лежали подготовленные бумаги. В окне отражалось пламя камина; сдвинулось и упало полено, по стеклу взметнулись тусклые стальные искры. Это была единственная комната, которая обогревалась не электричеством. В своем звукопроницаемом кабинете, в этом арктическом одиночестве Круг нуждался в товарищеском участии живого огня.

Во дворик, словно чернила в серую светящуюся жидкость, вливалась ночь. Неужели он дал маху с этим фонтаном?

Он прошел к столу и позвонил секретарше:

— Когда возвращается мисс Фаррант?

— Мы ждем ее сегодня, сэр, — ответил голос.

Он сел за стол и празднично раскрыл ладони; на левой — с чем родился человек на свет, на правой — как он устроил свою жизнь. Круг разбирался в этой сомнительной мудрости ровно настолько, чтобы найти линии успеха и долгой жизни.

Успех. Он ни минуты не

сомневался в том, что заслужил его — эти пять этажей стекла и стали, фонтан, рассыпающий брызги в свете скрытых ламп, дивиденды, новые предприятия, списки, закрывающиеся после двенадцати часов; было приятно сознавать, что своим успехом он обязан самому себе. Умри он завтра — и компания прогорит. Запутанная сеть филиалов держалась исключительно силой его личного кредита. Он никогда особенно не задумывался над словом «честность»: человек честен, покуда хорош его кредит, а кредит Крога — и он втайне гордился этим — на единицу выше государственного кредита Франции. Уже много лет он

брал деньги под четыре процента и ссуживал их французскому правительству под пять. Это и есть честность — когда все ясно, как дважды два. Правда, последние три месяца он чувствовал, что его кредит не то чтобы пошатнулся, но чуть сдал. Впрочем, ничего страшного. Через несколько недель американские фабрики исправят положение. Он не верил в Бога, но свято верил в линии на руке. Он видел, что жизнь его будет долгой, и не допускал мысли, что при нем компания разорится. А случись беда, он без колебаний покончит самоубийством. Человеку с его кредитом не место в тюрьме.

Крейгер, застрелившийся в парижском отеле, послужит ему примером. С мужеством в последнюю минуту дело обстояло так же ясно, как с честностью. Опять его смутно встревожила мысль, что он что-то упустил. Опять беспокоила статуя во дворе. На строительстве этого здания он занял людей, которых ему рекомендовали как лучших в Швеции архитекторов, скульпторов и декораторов. Он перевел взгляд с туевого стола на стеклянные стены, на часы без циферблата, на статуэтку беременной женщины между окон. Он ничего не понимал. Все эти вещи не доставляли ему удовольствия. Его

вынудили принять их на веру. И в краткое время, пока часы били полчасу, его поразила мысль, что, в сущности, его никогда не учили получать от чего бы то ни было удовольствие.

Однако надо куда-то девать вечер, чтобы притомиться и заснуть. Он открыл ящик стола и вынул конверт. Содержимое ему известно — билеты в оперу на сегодняшний вечер, на завтрашний, на всю неделю. Он — Круг, Стокгольм должен видеть его любовь к музыке. В театре он окружал себя маленькой пустыней, сидел с пустыми креслами слева и справа. Сразу видно, что он присутствует, и не приходится

краснеть за свое невежество — докучливый сосед не спросит его мнение о музыке, а если он и вздремнет немного — этого тоже никто не заметит.

Он позвонил секретарше.

— Если я понадобится, — сказал он, — я в английской миссии. Междугородные разговоры направляйте туда.

— А цены на Уолл-стрит?

— К этому времени я вернусь.

— Только что звонил ваш шофер, герр Круг. Сломалась машина.

— Ничего. Не важно. Я пройду.

Он встал и полкой пальто смахнул на пол пепельницу. На ней стояли его инициалы: «ЭК».

Монограмму исполнил лучший художник. «ЭК» — бесконечно повторяясь, инициалы составляли орнамент на пушистом ковре, по которому он шел к двери. «ЭК» в приемных, «ЭК» в канцелярии, «ЭК» в столовых. Здание было напичкано его инициалами. «ЭК» в электрической иллюминации над подъездом, над фонтаном и снаружи над воротами. Словно огни телеграфа с далекого расстояния, отделявшего Круга от прочих смертных, светящиеся буквы передавали новость. Сообщалось, что им восхищаются; любуясь иллюминацией, он совсем забыл, что ее устроили, по его же

распоряжению. На холодной арматуре «ЭК» пылали горячей признательностью пайщиков, и это была единственно возможная для него форма взаимоотношений с людьми. — Вот и кончили, герр Круг.

Круг опустил глаза; в них погасли отраженные огоньки; отсутствующий взгляд уперся в вахтера, который с плохо разыгранным радушием сиял улыбкой и потирал руки.

— Я о статуе, герр Круг; ее закончили, сделали.

— И как вы ее находите?

— Какая-то она странная, герр Круг. Я ее не понимаю. Я слышал, герр Лаурин сказал...

Его покорило: как может этот всем обязанный ему молодчик (кому еще пришло бы в голову сделать Лаурина, малокровного хлюпика Лаурина – директором? – а Круг не побоялся) – как смеет он досаждать ему своими сомнениями!

– Хорошенько запомните. – Коренастый весельчак поник. – Эту статую сделал самый выдающийся шведский скульптор. Понимать ее не входит в обязанности вахтера; его обязанность сообщать посетителям, что скульптура принадлежит резцу... этого... узнайте имя у моей секретарши... и я не хочу, чтобы вы внушали посетителям мысль, что эта группа трудна для понимания. Это

произведение искусства. Запомните. Он пересек дворик, обернулся; сквозь струи воды мигала лампочками его монограмма.

— Произведение искусства. Иначе ему нечего делать в «Кроге».

По краю неба протянулись рассыпавшиеся по склону огни Юргордена: рестораны, высокая башня в Скансене, вышки и американские горы в Тиволи. С воды наползал дымчатый туман, накрывая моторные лодки, силясь дотянуться до ускользающих огней пароходов. Против «Гранд-Отеля» стоял на якоре английский лайнер, сверкая белизной в свете уличных фонарей, и сквозь его снасти Круг разглядел

накрытые столики, официантов, разносивших цветы, вереницу такси на Северной набережной. На террасе королевского дворца расхаживал часовой, поблескивая штыком. По террасе к ногам часового подползал туман. В сыром воздухе застревали звуки и по косточкам разобранная музыка стыла над осенним увяданием. На Северном мосту Круг поднял воротник пальто. Туман обвинил его кругом. Ресторан под мостом был закрыт, по стеклянному навесу струилась вода, пальмы в бочках простирали умирающие листья к окнам, в темноту, к приставшим пароходам. Осень была ранняя; нагие бедра статуи были

словно подернуты паром. По календарю, однако, еще было лето (еще не закрыли Тиволи), несмотря на холод, ветер, слякоть и раздувшиеся вокруг каменного Густава зонты. Волоча за руку ребенка, мимо просеменила пожилая женщина, студентка в кепке увернулась от такси, подъехавшего близко к тротуару, из-под моста навстречу Кругу человек толкал тележку с жареными каштанами. Он видел огни в прямоугольнике домов с лоджиями на Северной набережной, где была его квартира. Широкая гладь озера Меларен отделяет ее от рабочих кварталов на противоположном берегу. Из окна

гостиной видны пароходики с туристами из Гетеборга. На своем пути они минуют место, где он родился, и в сумерки тихо выплывают из сердца Швеции, оставив за собой серебряные березовые леса вдоль берегов озера Веттерн, ярко окрашенные деревянные домики, маленькие пристани, где цыплята ищут червяков в земле, тонким слоем припорошившей гранит. И наблюдая вечером, как пароходы бочком идут швартоваться напротив ратуши, Круг, интернационалист, работавший на заводах Америки и Франции, свободно, как на шведском, говоривший по-английски и по-

немецки, дававший займы всем решительно европейским правительствам, — Круг чувствовал что-то утраченное, упущенное и упрямо живое.

Круг встал спиной к берегу. Магазины на Фредсгатан закрыли, народу на улице поубавилось. Для прогулки было холодно, и Круг искал глазами такси. Он заметил машину в глубине узкой улочки справа и остановился на углу. Пронзительно взвизгнули трамваи на Тегельбаккен, ветер пронес над крышами свисток паровоза. Автомобиль, двигавшийся слишком быстро для такси, чуть не выскочил на тротуар, где стоял Круг, и вскоре

пропал за трамваями, за линиями и фонарями Тегельбаккен, оставив после себя тревожный осадок, вонючий выхлоп. В переулке таксист завел машину и медленно тронулся в сторону Круга. Автомобильный хлопок привел на память озеро Веттерн и дикую утку, тяжело и шумно поднявшуюся из камышей. Он поднял весла и замер, пока отец стрелял; он был голоден, от выстрела зависел обед. Тяжелый едкий запах повис над лодкой, птица дернулась, словно ее подсекла огромная рука.

— Такси, герр Круг.

В Америке, подумал Круг, это был бы не выхлоп, а выстрел, и он резко наклонился к водителю:

– Откуда вы знаете мое имя?

На него глядело бесстрастное, обветренное лицо:

– Кто вас не узнает, герр Крог?

Вы очень похожи на свои портреты.

Птица падала, хлопая крыльями, словно воздух разрядился и не держал ее. Упав, она вынырнула и замерла на воде. Когда они добрались до нее, она была мертвая, клюв ушел под воду, одно крыло затонуло, она напоминала разбившийся, брошенный всеми аэроплан.

– В английскую миссию, – сказал Крог.

Откинувшись на спинку, он смотрел, как на стекло из тумана наплывали лица и пропадали.

Защищенные и счастливые своей безымянностью, люди держали путь к американским горам в Тиволи, к дешевым местам в кинотеатрах, к любви в укромных углах. Круг задернул шторы и в темной рокошущей коробке попытался думать о цифрах, отчетах, контрактах. Человеку моего положения нужна охрана, думал он, но если обратиться в полицию, то полиция не замедлит сунуть нос в его дела. Они узнают об американской монополии, когда даже директора убеждены, что дела еще только в стадии переговоров; они узнают очень много о самых разных вещах, а что сегодня знает полиция — завтра почти наверняка узнает

пресса. Он понял, что не может позволить себе охраны. Расплачиваясь с шофером, он впервые осознал свое одиночество как слабость.

Он услышал крик парохода с озера, тяжелый стук двигателей. В тумане глухо звучали отсыревшие голоса – так глохнут моторы давшего течь, идущего ко дну корабля.

Крог не умел анализировать свои чувства, он только мог сказать

себе:

«Тогда-то я был счастлив; сейчас мне плохо». Через стеклянную дверь он видел, как по мраморным ступеням степенно сходит лакей-англичанин. В том году, в Чикаго, он был счастлив.

– Посланник у себя?

– Разумеется, герр Круг.

За лакеем вверх по лестнице; и в Испании он был счастлив. В его воспоминаниях совершенно отсутствовали женщины. После мысли: «Я был счастлив в том году», – вспоминался маленький, не больше чемоданчика механизм, заработавший на столе в его квартирке, и как не отрывая глаз он

смотрел на него весь вечер, ничего не ел и не пил, а потом целую ночь пролежал без сна, повторяя про себя:

– Я был прав. Серьезного трения нет. – Герр Эрик Крог.

Комната кишела женщинами, и ему были неприятны любопытство и тайная алчность (богатейший человек в Европе), с которыми они обратили к двери свои старые, гладкие, ярко раскрашенные лица, похожие на картинку в древнем молитвеннике, сберегаемые под стеклом и раскрытом всегда на одной и той же странице. Посланник пользовался успехом у пожилых дам. Сейчас он хлопотал у серебряной спиртовки (он всегда сам разливал

чай) и в следующую минуту, кивнув Кругу, уже цеплял серебряными щипчиками ломтики лимона.

— Сегодня торжественный день, мистер Круг, — сказала женщина с ястребиным лицом. Он часто встречал ее в миссии, привык считать родственницей посланника, но никак не мог вспомнить ее имени.

— Торжественный день?

— Новая книга стихов.

— А-а, новая книга стихов. — Она взяла его под руку и увела к хрупкому столику — «чиппендейл»; в противоположном углу посланник разливал чай. «Чиппендейл» и серебро задавали тон в обстановке; нездешняя комната, но лояльная, как

интеллигент-иностранец, что свободно объясняется на чужом языке и усвоил местные нравы и манеры; впрочем, не настолько, чтобы Круг чувствовал себя как дома.

— Я не понимаю поэзию, — неохотно проговорил он. Он не любил признаваться, что есть вещи, которые он не понимает; он предпочитал узнать мнение специалиста и высказать его как свое, но, окинув взглядом комнату, убедился, что помощи ждать неоткуда. Перезрелые дамы английской колонии щебетали вокруг чайного столика как скворцы.

— Посланник расстроится, если вы не взглянете.

Крог взглянул. Книгу открывала репродукция с портрета работы Де Ласло: прилизанная серебряная голова, довольно застенчивые любознательные глаза в сетке морщин, наливные щечки. «Виола и лоза». – Виола и лоза, – прочел Крог. – Что это значит? – То есть? – удивилась дама с ястребиным лицом. – Это виола да гамба и... вино.

– Английская поэзия, по-моему, очень трудна, – сказал Крог. – Но вы должны немного прочесть. – Она сунула ему книгу; из чувства уважения к иностранкам он повиновался, застыв с книгой в высоко поднятой руке: «Памяти

Даусона», за его спиной позвякивал фарфор, звенел колокольчик хозяйского голоса.

Рассыпав роз невянущих
букет
И в кружке утопив хандру,
Я вижу через память лет
Лишь тени наших уличных
подруг...

– Нет, – сказал Круг. – Нет.
Непонятно. – Ему было не по себе.
Точность – это качество он ценил
превыше всего: точность машины,
точность в отчете. Временами,
рассуждал он, мужчине нужна

женщина, как бывает необходимо иногда засекретить активы или скрыть реальную стоимость акций, но нельзя же объявлять об этом во всеуслышание, и он недоверчиво покосился на посланника, грызшего миндальное печенье. Его утомляли манеры, которые он не понимал, ничего не говорившие ему слова, и уже во второй раз за этот день он вспомнил свою однокомнатную квартирку в Барселоне и маленькую модель, принесшую ему богатство, огромное богатство, огромное влияние — и эту скуку и тревогу тоже. Сейчас он вышел на американский рынок, и надо равняться на Америку.

Он вспомнил Чикаго. Он был

счастлив в Чикаго; в ту пору там не знали гангстерской войны. Это было давно, еще до Барселоны; но почему он там был счастлив — он не мог вспомнить. В памяти остались только скованное льдом озеро, комнатка с подвесной койкой, мост, где он работал, и как однажды ночью шел снег и он купил бутерброд с горячей сосиской и, укрывшись от ветра, ел его под аркой моста. Наверное, у него были приятели, но он никого не помнил, наверное, были девушки, но он не помнил ни одного лица. Он был тогда сам по себе.

А сейчас он себе не принадлежал, он ощущал бремя своего положения даже здесь, в этой

светлой воздушной комнате с белыми стенами, под неотступным взглядом посланника поверх спиртового чайника. Он уже знал, что вскоре его ждет привычный допрос: каковы перспективы с каучуком? есть ли вероятность бума в отношении серебра? Кофе Сан-Пауло, мексиканские железные дороги, реформы в Рио, и в итоге благодарственная жертва, своего рода покровительство: я велел своему маклеру купить на двести фунтов акции вашего нового предприятия, словно Эрик Круг должен чувствовать бесконечную благодарность автору «Виолы и лозы» за доверенные займы двести

фунтов. Голоса накатывали волнами, разбивались о фигуру посланника, выпрямившегося перед своим рокингемским фарфором, слабеющим журчаньем подбирались к Крогу, замирали в нескольких шагах, стремительно возвращались вспять, вздымались и рассыпались над чайным столиком. Его покинула даже дама с ястребиным лицом; она не лучше других могла поддержать финансовую тему; ни его терпеливое бодрствование в опере, ни степенные фокстроты с Кейт в избранном обществе, ни вечерние приемы в окружении шкафов с собраниями сочинений – ничто не могло убедить их в том, что у него такие же

интересы, как у них. И что же, думал он, наугад раскрывая «Виолу и лозу», — они правы: я ничего не смыслю в этих вещах. Сюда бы Кейт.

Лакей отворил дверь и неслышно направился в его сторону. — Междугородный разговор с Амстердамом, сэр. — Эти слова зарядили его энергией, он снова почувствовал себя счастливым, выходя из гостиной и через радужную картинную галерею следуя за лакеем в кабинет посланника. Он выждал, когда человек уйдет, и взял трубку. — Хэлло, — сказал он по-английски. — Хэлло. Это Холл? — Ответил очень слабый, очень ясный голос, выскобленный, вычищенный и

выглаженный расстоянием:

— Это я, мистер Крог.

— Я говорю из английской миссии. Прежде всего: что на бирже?

— Они до сих пор выбрасывают.

— Вы, конечно, покупали?

— Да, мистер Крог.

— Цену сохранили прежнюю?

— Да, но...

Да, но... — все тот же неуверенный голос с едва заметным акцентом кокни, он не переменился со времени их тесной квартирки в Барселоне. Говорю тебе, серьезного трения нет. Да, но... Он почувствовал раздражение против Холла; кроме преданности, других достоинств у него нет; странно, ведь в свое время

они были близкими приятелями, называли друг друга Джим и Эрик (не как сейчас – Холл и мистер Круг), одалживали друг другу выходной костюм, пили вино в погребке возле арены для боя быков. – Продолжайте покупать. Не давайте цене спуститься ниже, чем на полпроцента.

– Да, мистер Круг, но...

Не полагайся Круг на него, как на самого себя. Холл, а не Лаурин был бы сейчас директором. Холл и Кейт. Кейт и Холл.

– Слушайте, – сказал Круг. – Сырье это почти никакой ценности не представляет. Будет только лучше, если мы его приберем к рукам. Надо

избежать вопросов. – Холлу нужно все объяснять, как ребенку. – Если ИГС осилит...

– Безусловно, осилит. Сейчас у нас Румыния, через неделю-другую пойдет Америка.

– Деньги поджигают.

– Деньги я всегда достану.

– Три минуты, – объявила станция.

– Одну минуту, – заторопился Холл, – у меня еще.

– Что такое?

– Три минуты.

– Донген... – Голос Холла отхватили, словно кусок жести ножницами; телефон свистнул, застонал, донес умирающий голос:

«Une femme insensible» – потом все затихло, и в дверь постучали. – Войдите, – сказал Круг.

– Дорогой мой, – посланник просунул в дверь голову и на цыпочках вошел в комнату, – я не хотел вас беспокоить, но пришлось сбежать от этих граций. Одна растяпа отбила край у чашки. Ах, я вижу, вы еще говорите. – Нет, – сказал Круг, – я кончил, – и положил трубку. – Мученик, – продолжал посланник, – все время на телефоне. Деньги, цифры, акции – с утра и до ночи. Вчера вы даже не выбрались в оперу – это правда?

– Да, – ответил Круг. – Собирался, но дела помешали. – На

днях, — сказал посланник, — я приобрел акции вашего последнего выпуска.

— Очень вовремя, — сказал Крог.

— Я, разумеется, даже не рассчитывал успеть. В этих делах я не очень расторопен. Я поразился, мой дорогой, что списки еще были открыты. То есть — после двенадцати часов.

— Деньги поджигают.

— Я, разумеется, не спекулирую. Просто для меня акции Крога — это гарантия". — Серым встревоженным призраком он порхал от двери к окну, от окна к книжному шкафу. Что-то его беспокоило. — Невелика гарантия, сэр Рональд, — всего десять

процентов. — Я понимаю, дорогой мой, понимаю, но на вас можно положиться. Если хотите знать, Крог, я — хотите виски? — сделал вещь, которую еще несколько лет назад считал бы опрометчивым поступком. В ваше последнее предприятие я вложил уйму денег, для меня чертовски много. Это надежное дело? — Такое же, как основная компания.

— Разумеется, разумеется. Вам покажется странным, что я задаю такие вопросы, но, право, я еще никогда не ставил так много на одну карту. Черт возьми, Крог, в моем возрасте уже можно бы не беспокоиться из-за денег. Мой отец

не знал таких тревог. Он вполне обходился консолями. Но сегодня даже государственным бумагам нельзя доверять. Рабочие правительства, отсрочки по платежам — все так ненадежно. Знаете, Крог, за последний год разорилось двое моих приятелей. В полном смысле слова. Не то чтобы пришлось расстаться с автомобилем или гунтерами, а просто остались на мели с двадцатью фунтами на всю неделю. Тут не хочешь, а задумаешься, Крог. — У вас, кажется, есть акции металлургических предприятий? — Да, на две тысячи. С ними все прекрасно. Конечно, это не акции «Крога», мой дорогой, но —

вполне, вполне.

— Если позволите дать совет, — сказал Крэг, — утром я бы первым делом связался с маклером. Завтра, я полагаю, они поднимутся де ста двадцати пяти шиллингов, может, даже подскочат до ста тридцати, но велите маклеру продавать уже по сто двадцать пять. К концу недели они упадут до восьмидесяти шиллингов.

— Очень любезно с вашей стороны, весьма. Если ваш список еще не закрыт, я поставил бы еще немного на вашу карту...

— Позвоните утром моей секретарше, мисс Фаррант. Наверное, я смогу устроить вам тысячу или около того по номиналу. В знак

дружеского расположения, – сказал он с принужденной сердечностью. Посланник беспокойно кружил по комнате, раскачивая на шнурке монокль, склоняя каучук и реформы в Рио, возвращаясь к металлургическим предприятиям; в его жадности было что-то детское и обезоруживающе наивное. С чувством легкого раздражения Крог рассматривал его, слушал, напряженно вытянувшись перед шкафом, в котором, среди прочих, хранились собственные сочинения сэра Рональда: «Рисунок серебряным карандашом», "Однажды в «Русалке», «Пилигрим в Фессалии». В его напряженности смешались и

гордость, и откровенная неприязнь к дилетанту в денежных делах, и стеснительная скованность простолюдина, не забывшего деревянной избы, ночей в озере, диких гусей, моста в Чикаго.

— Когда вы последний раз видели принца? — спросил сэр Рональд. — Принца, принца... — вспоминал Круг. — Кажется, на прошлой неделе. — Маленькие часы мелодично пробили время. — Мне пора, — сказал он. — Скоро передадут курсы Уолл-стрита. — Но и после двадцати лет процветания он не умел побороть свою скованность, боялся сделать промах, который выдаст его крестьянское происхождение. Он с

жадным беспокойством следил за собеседником: раскланяться? пожать руку? или просто улыбнуться и кивнуть? – сейчас этот вопрос мучил его не меньше, чем финансовая проблема.

– Значит, если я позвоню... – начал посланник, крутя в пальцах монокль. Откуда-то из забытого прошлого вдруг выплыл непристойный анекдот; повеяло теплом возобновленной старой дружбы; губы сложились в непривычно мягкую улыбку.

– Что вас рассмешило, мой дорогой? – озадаченно спросил посланник. Но с анекдотом, как со старым приятелем, трудно в новой

компании – он принадлежит другому времени, где все было грубее, беднее и где было больше дружбы. Сейчас он его стеснялся, он не мог познакомить с ним своих новых друзей – посланника, принца, даже Кейт; надо тайком накормить гостя, дать денег и выпроводить; этот хоть не вернется шантажировать; но осталось чувство одиночества, опустошенности, словно жизнь его не раздвинулась вширь, а наоборот – стала теснее. «И когда они добрались до публичного дома...»

– Так, вспомнилось. Мне пора.

Зазвонил телефон. Посланник снял трубку, потом передал ее Крогу. – Это вас, мой дорогой. Я

исчезаю. Позвоните, когда кончите, и Кэллоуэй вас проводит. — Он с чувством пожал локоть Крога и на цыпочках пошел к двери. По пути обернулся:

— Я позвоню вам завтра в одиннадцать. — Это исключено, — говорил Круг. — У нас в каждом цеху осведомители. Куда они смотрели? — услышав голос посланника, он закончил:

— Я сию минуту возвращаюсь. Разыщите герра Лаурина, он умеет разговаривать с этими людьми. — Он заспешил, решив не ждать Кэллоуэя, но деликатное позвякивание чашек, доносившееся в галерею, и сановники в золоченых рамах

заставили его взять себя в руки. Он подтянулся, возвратился в кабинет и позвонил. – Вечер не из приятных, сэр, – сообщил Кэллоуэй, помогая ему надеть пальто. – Скверный туман, хуже, чем вчера.

– Такси, пожалуйста.

Глядя на Кэллоуэя, застывшего посреди улицы с двумя поднятыми пальцами, он думал: ему хотелось поговорить со мной; наверное, даже Кэллоуэй покупает акции. А может, правда хотел обсудить погоду? Как вообще завязывается разговор? Ведь у людей разные интересы, совсем другие взгляды. Между ним и Кэллоуэем прошел кавалерийский отряд; на минуту живая стена кирас

и плюмажей скрыла лысого человека в коротком черном камзоле. Офицер увидел на пороге миссии Крога и приветствовал его взмахом руки в белой перчатке; лошади вскидывали головы и легко ступали под фонарями, помахивая каштановыми хвостами.

Остановившись, прохожие улыбались всадникам, словно мимо проходила сама молодость, красота, воля. Один Кэллоуэй оставался равнодушным к зрелищу, высматривая такси.

Монограмма над воротами была погашена. Ожерелье из темных лампочек напоминало потускневшую стальную брошь.

– Почему не горят лампочки? –
накинулся он на вахтера.

– Распоряжение герра Лаурина.
Выключать свет после шести.

– Немедленно включите.

На столе лежал отпечатанный на машинке биржевой бюллетень Уолл-стрита; где-то за стеной стрекотала пишущая машинка.

– Мисс Фаррант вернулась?

– Еще нет, герр Круг. – У стола его ожидала секретарша, заменявшая Кейт, – худая, седая, с нервным тиком на глазу. – Когда стало известно о забастовке?

– Сразу после вашего ухода, герр Круг.

– Она начнется завтра?

– Завтра в полдень.

– Сколько фабрик?

– Три.

– Кто зачинщик?

– Осведомитель в Нючепинге
называет Андерссона...

– Кого-нибудь уволили? –
спрашивал Круг. – Или вопрос
заработной платы? Надо сегодня же
выяснить.

– В отчете из Нючепинга – вот
он, герр Круг, около цветов, –
предполагается американское
влияние...

– Это ясно, – ответил Круг. – Но
что послужило поводом? –
Распространился слух, что в Америке
вы предлагаете низкую заработную

плату, что там вообще падают заработки, растет безработица. — С какой стати их волнует Америка?

— Этот Андерссон социалист...

— Разыщите герра Лаурина. Немедленно. Нельзя терять времени. Он знает подход к этим людям.

Только Лаурин и находил с ними общий язык; собственно, потому Круг и ввел его в правление: бывает, что не поможет самая светлая голова, зато выручит дружелюбие, умение договориться с людьми. — Я пыталась разыскать герра Лаурина. Его нет в городе.

— Надо его вызвать.

— Я звонила ему домой. Он болен. Может быть, позвонить герру

Асплунду, герру Бергстену?

— Нет, — ответил Круг. — От них мало толку. Если бы здесь был Холл. — Может, послать машину за Андерссоном? Минут через десять он уже будет здесь.

— Ваши советы нелепы, — взорвался Крот. — Я должен сам поехать к нему. Через пять минут приготовьте машину.

Он взял биржевые курсы Уолл-стрита и попытался сосредоточиться. Он совершенно не представлял, что сказать Андерссону. «ЭК» на пепельнице, «ЭК» на ковре, «ЭК», венчающие фонтан за окном, — он был окружен самим собой. Не верилось, что когда-то было иначе.

Что сказать Андерссону? Можно предложить денег. А вдруг не возьмет?... Надо в дружеском тоне переубедить его, повести мужской разговор. Ужасно несправедливо, что Лаурин, о котором он вчера даже не вспомнил, которого он, в сущности, презирал, — что Лаурин ничуть не затрудняется разговаривать с этими людьми. С чего начинает Лаурин? Круг часто наблюдал его в подобной ситуации. Лаурин отпускал шутку — и сразу воцарялась непринужденная обстановка. Я тоже, подумал Круг, должен отпустить шутку. Он вырвал листок "из настольного блокнота, написал и подчеркнул: «Шутка». Только какая? «И когда они

добрались до публичного дома...» При посланнике воспоминание вызвало улыбку, анекдот выплыл из укромного прошлого и принес с собой печаль и красоту, привязанные к чему-то в трудной юности, — к такому, что никогда не забывается до конца. Сейчас улыбка не выходила. Круг почувствовал стыд и огорчение, что для дела приходится жертвовать даже этим рассказом; а других он вспомнить не мог. Ну, а потом, забеспокоился он, что потом? Что еще скажет Лаурин? Наверное, поинтересуется семьей. Он позвонил секретарше и вскоре записал под словом шутка: «Жена, двое сыновей, один работает на фабрике, дочери

десять лет». Он тщательно выписал каждое слово и каждое подчеркнул; потом порвал бумажку и бросил клочки на пол. Как можно планировать человеческие отношения? — это не производственный график. Он постарался ободрить себя: это мне полезно, я чересчур завяз в делах, надо встряхнуться, сойтись с людьми. Он размышлял: ведь было время, когда я чувствовал себя с другими легко, — и пытался вспомнить, но в памяти были только капли воды, падавшие с весел, молчаливо застывший отец, ранний рассвет, усталое возвращение. Он вспомнил: клепальщики на мосту,

мы были друзьями. Но бутерброд с горячей сосиской, укрывшись от ветра, он ел в одиночестве, один спал в подвесной койке (он не мог припомнить ни одного девичьего лица); и от всей дружбы только и остался неприличный анекдот.

Правда, потом был Холл; мы любили пить дешевое красное вино возле арены для боя быков, разговаривали; мы подолгу говорили — до ночи, всю ночь напролет. О чем? О машине, о трении, о расширении металлов. Больше он ничего не мог припомнить.

— Ваша машина, герр, Круг.

Он взял со стола биржевой листок и сделал вид, что погружен в

чение. Зачем я еду?

Аляскинские Жюно...
20 1/4... 20 1/2

Американская
шерсть... 13 1/2... 14

Вифлеемская сталь...
40 1/8... 41 3/4

Колгейт-Памолив-
Пит... 15 1/2... 16 1/8

Компания Вулворта...
49 3/4... 50 3/8

Он плохо вникал в то, что
пробежал глазами.

– Ваша машина, герр Круг.

– Я слышу. Сейчас.

Континентальная

жесть... 76... 77

Насосы

Уортингтона... 24 1/2... 25
1/2

Объединенные
химические... 148... 148

Пневматические
машины... 94 1/2... 94 3/4

Он заглянул в конец списка.

США: промышленный
спирт, США: кожа, США:
резина, США: сталь.

Сумрачно, без тени улыбки Круг
подумал: «Какой я застенчивый».

Чилийская медь 14...

Янгтаунский прокат и
трубы... 26 1/2... 27 1/2

Не радовала даже мысль, что скоро в этот список войдет его собственная компания, в дополнение к бюллетеням Стокгольма, Лондона, Амстердама, Берлина, Парижа, Варшавы и Брюсселя.

Шутка, думал он, потом вопрос о семье; что предложить – сигару или сигарету?

– Вообще-то тут должны ходить катера, – сказал Энтони. – Ты уверена, что их нет?

– Помолчи, – насторожилась Кейт, – это не лифт? – Ей не

удавалось скрыть тревогу; она все очень хорошо рассчитала, но по ее голосу он понял, что в Крое даже она не может быть уверена наперед. — Что ты будешь делать, если он меня не возьмет? — спросил Энтони.

— Что ты будешь делать?

— А-а, — отмахнулся Энтони, — куда-нибудь приткнусь. Велика беда! — Ни дать ни взять бывалый вояка, привычный к длинным переходам со скудным пайком, — такого измором не возьмешь; он вел войну, в которой просто выжить было самой крупной победой.

Бледная, с напряженно застывшим лицом, Кейт притулилась

в простенке между книжным шкафом Круга и дверью в его комнату, и он знал, что ей страшно за него. Он хотел растолковать ей, что она напрасно боится, но не знал, как это сказать. «Мне не впервой перебиваться», — нет, не то. Ведь что главное: любой ценой выжить; выпадет маленькая радость — это, считай, уже счастье: неожиданная выпивка, неожиданная девушка. Вот, пожалуй, единственный урок, который он хорошо усвоил в школе. Все плохое рано или поздно кончалось; бывали передышки, выпадали минуты счастья — болезнь, чай в комнате экономки, наказание, после которого ты герой дня. Так на

многие годы прививается умение мириться с обстоятельствами, ладить с людьми, довольствоваться походным пайком.

Но Кейт, он понимал, — Кейт иной породы: она всегда к чему-то стремилась, и даже не это (потому что он тоже к чему-то стремился: взять хотя бы его патентованную рукогрейку — он стремился разбогатеть) — нет, главное — Кейт никогда не теряла надежды. А его теплый располагающий взгляд, крепкое рукопожатие и легкая шутка прикрывали разуверившуюся во всем пустоту.

Когда он снова заговорил, в его голосе появились

покровительственные нотки, точно перед ним был ребенок, впечатлительный ребенок, фантазерка. – Не трепи себе нервы, Кейт: что скажет, то и будет. Право, не стоит.

Давай отвлечемся. Ознакомь меня с обстановкой. Это его книги?

– Да.

– Он их читает?

– Вряд ли.

– А там что?

– Его спальня.

Не получалось у нее расслабиться; теперь уже он чувствовал себя старше, сильнее, опытнее. Он был в своей стихии, ему не привыкать скрашивать ожидание,

с завидной легкостью прогоняя мрачные мысли. В школьной спальне и на подвесной койке он, бывало, обмирал от страха, что кто-нибудь дернет простыню или в белом полотняном костюме на пароход поднимется таможенник. Но годы научили его быть благодарным за передышку и ничего вперед не загадывать. Сейчас я один в спальне, сейчас мне хорошо на моей койке, сейчас я еще некоторое время с Кейт, с другом. Он толкнул в сторону дверь огромного раздвижного шкафа и обнаружил густую чашу костюмов. — Похоже на лавку старьевщика, — сказал он. — Он что, закупает их оптом? — Он начал считать и на

двадцатом бросил. — Материал ничего, но покрой... Этот красный в полоску ярковат, тебе не кажется? Галстуки. Богато, но расцветка... — Галстуки висели пестрой связкой мертвых тропических рыб. — Меня силой не заставишь носить такие, — сказал Энтони. — Беда с иностранцами — не умеют одеваться. Разве ты не помогаешь ему выбирать?

— Нет, у него есть специальный человек.

— Работа как раз для меня, — сказал Энтони. — На одних комиссионных можно разбогатеть. Погоди, он хоть видит материал до покупки? — Он шьет без примерки, —

объяснила Кейт. — С него уже два года не снимали мерку. Костюмы присылают партиями, вроде этой. Раз в полгода. — Какой в этом смысл?

— Он покупал только готовые костюмы, когда еще не был богат. Поэтому, он ни разу не был у портного. Наверное, он их боится. — Она замялась. — Он застенчивый человек. Его на все не хватает.

— Забавно будет прибрать его к рукам, — сказал Энтони. — Первым делом мы ликвидируем эти галстуки.

— Нет, — оборвала, его Кейт, — нет. — Она стояла у двери в смежную комнату, устранившись от участия в этом непринужденном и дотошном обыске. Он обратил внимание, что на

губах у нее нет помады; очень бледные губы, это не шло к ее платью. Может, Крог по старинке не одобряет помаду и пудру? А какое у него право навязывать ей свои вкусы? — и, давая волю ревности, он повторил:

— Мы выбросим этот хлам.

— Оставь его в покое.

Он быстро остыл и слушал голос, защищавший Крога, с грустным чувством, словно его не признал на улице старинный знакомый, прошел мимо, занятый мыслями, в которых не осталось места общим воспоминаниям. Вот Кейт стоит у его постели, треснувший колокольчик звонит к

чаю, или в переполненной прихожей говорит ему:

– Ты опоздаешь на поезд. Тебе пора, – или занимает для него деньги, строит планы, решает за него. Интересно, в какую даль отпихнул эти воспоминания Круг? Он обвел взглядом костюмы, галстуки, сталь и стекло его спальни, впервые отметил ее платиновые часы, дорогие серьги. – Верно, – сказал он, – справится без меня. Придется, видно, просить денег на обратный билет.

– Он должен взять тебя, – сказала Кейт.

– Потому что ты его любишь?

– Нет, потому что я тебя люблю.

— Дружок, я этого не стою, — сказал Энтони. — Правду говорят, что кровь не вода. Не будь я твоим братом, ты бы меня просто презирала. — Чушь, — возразила Кейт.

— Как я живу — ты вдумайся: дешевые каморки; ломбарды, вечно без работы, собутыльники за полночь. Тебе повезло, ты от всего этого далека. Ты не отдаешь себе отчета, когда говоришь, что любишь меня. — Серьезность, с которой она слушала, рассмешила его. — Это просто родственные чувства, дорогая моя Кейт.

— Нет, — сказала она, — я тебя люблю. Если он не даст тебе работу, я завтра же вернусь с тобой в

Лондон.

— А я тебя не возьму, — ответил он. — Ты будешь скандалить с хозяйками. Что за этой дверью? Его кабинет?

— Нет, — сказала Кейт, — моя спальня.

Энтони вытянул руку и раскачал костюмы:

— Боже, — взорвался он, — этот красный в полоску! Глазам больно. А галстуки! Как можно носить такие вещи? Я бы не доверил такому человеку свои акции.

— А Эрик? — спросила она и, как спичка, вспыхнул, опалив кончики пальцев, и погас гнев. — Почему Эрик должен доверять человеку в чужом

галстук, которого отовсюду увольняли?

— Стоп, — сказал Энтони, — стоп. — Он подошел ближе. — Если бы я захотел жить по-твоему, я бы давно был богатым человеком. Она размахнулась, но с рассчитанной быстротой он перехватил ее руку, страдая и не в силах вспомнить, когда и с кем, черт возьми, он развил в себе эту сноровку.

— Так мне и надо, — мягко сказал он, отпуская ее руку, — я забыл о Мод. — Было наготове и безотказное оправдание. — Я приревновал тебя к этому субъекту. Я тебя очень люблю, Кейт, и поэтому так получается. — Родственные чувства, — грустно

поправила она. Он счел за лучшее не спорить. Жизнь коротка — когда тут ссориться? Он мобилизовал весь арсенал умиротворяющих средств. Он забыл Крога, забыл даже Кейт, ее образ растворился, слился с другими, принял черты Мод, Аннет, буфетчицы из «Короны и Якоря», американочки из «Города Натура», хозяйской дочки с Эджвер-роуд.

— Дружок, — сказал он, — мне нравится твоя помада. Это новый цвет, да? — и тут же хватился, что никакой помады нет, что хвалить надо было платье или духи.

Но Кейт ответила:

— Да, новый. Приятно, что тебе нравится, — и, порывшись в памяти,

он благополучно кончил:

— Кейт, ты девочка первый сорт.

И сразу растерял всю свою уверенность, когда из холла донесся звук поворачиваемого ключа. Да, приходилось расплачиваться за бурлящую энергией мальчишескую самонадеянность; он жил минутой и никогда не был готов к неожиданному переходу — к незнакомому лицу, к новой работе. Выходя за Кейт в гостиную, он затравленно огляделся кругом, прикидывая прячущие возможности постели, шкафа, другой двери.

Но уже первый взгляд на Эрика совершенно его успокоил, даже ревность почти ушла. Ничего

особенного, обычный иностранец. На Эрике мешком висел розовато-лиловый костюм в полоску, под ним неприятно яркая клетчатая рубашка и нелепый галстук. Внешне он вообще проигрывал рядом с Энтони: он был высок, когда-то, наверное, хорошего сложения, но сейчас сильно располнел; он выглядел на свой возраст, никак не моложе. Такие лучше смотрятся на публике, чем в домашней обстановке. Выглядывая из-за Кейт, Энтони приходил в благодушное настроение. Подвернулся человек с деньгами, и человек, как видно, бесхитростный. Удивительно, просто не верится, что это и есть Эрик Круг, и в очередной

раз разделяваясь с неприятностями и обольщаясь на будущее, Энтони привычно заключил: все, черт возьми, к лучшему. Даже смешно. Теперь главное — не оплошать. — Хорошо, что ты вернулась, Кейт, — сказал Круг. Он ушел в холл как бы в шляпе, окинув Энтони оценивающим взглядом; ему было не до вежливости — так он устал. В густом полумраке холла усталость клубилась на нем, как эктоплазма. Через неплотно прикрытую дверь доносились слабые звуки из коридора; удаляющиеся шаги, визг закрываемого лифта, где-то кашлянули; за окном вскрикнула птица; усталость выходила из него, как в спиритическом сеансе под

тревожный аккомпанемент бубна и скрипучего стола. — Где ты был, Эрик? — Он осторожно прикрыл дверь, сплющив полосу яркого света из коридора.

— Меня подкарауливает репортер.

— Чего он хочет?

На миг усталости как не бывало, он бодро объявил:

— Галерея великих шведов. — И сразу обмякнув, искал, куда положить шляпу. — Кто-то натравил их на меня. Не знаю зачем. — Это мой брат. Ты помнишь, я телеграфировала... Он снова вышел на свет, и Энтони разглядел, что на висках он лыс, отчего лоб казался

огромным.

— Рад познакомиться, мистер Фаррант, мы завтра побеседуем. Сегодня вы должны меня простить. У меня был трудный день. — Напряженно застыв, он выпроваживал его, и даже не очень бесцеремонно — скорее, он чувствовал себя неловко.

— Да, буду двигаться в отель, — сказал Энтони.

— Надеюсь, вы совершили хорошее путешествие.

— Спасибо, не запылились.

— Пылесосы, — начал Круг и осекся. — Простите. Не запылились. Совсем забыл это выражение.

— Что ж, до свидания, — сказал

Энтони.

— До свидания.

— Тони, ты не будешь скучать один? — спросила Кейт. — Схожу в кино, — ответил Энтони, — а может, разыщу Дэвиджей. — Он вышел и медленно прикрыл за собой дверь; интересно, как они поздороваются наедине. Но Круг сказал только:

— Не запылились. Совершенно забыл, — и после паузы:

— Лаурин заболел. Через стекло шахты лифта Энтони видел далеко внизу ярко освещенный холл; к нему медленно поднималась лысина швейцара, склонившегося над книгой посетителей, и, словно часовые пружины, навстречу ему

разматывались фигуры сидевших друг против друга мужчин: сначала он разглядел их жилеты, потом увидел ноги, ботинки и наконец устремленные в его сторону взгляды. Он вышел и захлопнул дверь. Когда он обернулся, те двое уже были на ногах.

Один, помоложе, подошел и сказал что-то по-шведски.

— Я англичанин, — сказал Энтони, — ничего не понимаю. Лицо второго осветила улыбка. С протянутой рукой к Энтони спешил маленький человек с морщинистым пыльным лицом, с окурком сигареты, прилипшим к нижней губе.

— Значит, англичанин? — сказал

он. — Какая удача. Я тоже. — В его свободных и одновременно заискивающих манерах проглянуло что-то очень знакомое. Некий полустершийся профессиональный признак, обязательный, как видавший виды кожаный чемоданчик или сумка для гольфа, в которой лежит разобранный пылесос.

— Я ничего не собираюсь покупать, — предупредил Энтони. Слегка наклонив голову, швед внимательно прислушивался, стараясь понять их разговор. — Что вы, что вы, — успокоил англичанин. — Моя фамилия Минти. Давайте выпьем по чашечке кофе. Швейцар приготовит. Меня здесь знают.

Спросите мисс Фаррант.

— Мисс Фаррант моя сестра.

— Догадываюсь. Вы на нее похожи.

— Я не хочу кофе. Кто вы такие, между прочим. Собеседник отодрал с губы окурок; тот присох, словно липкий пластырь, и оставил на губе желтые следы бумаги. Окурок Минти пяткой растер на черном стеклянном полу.

— Ясно, — сказал он, — вы сомневаетесь. Не верите, что Минти обойдется с вами по-честному. Но в Стокгольме я один хорошо плачу за новость. — Понял, — сказал Энтони, — вы журналисты, да? Вы так и ходите за ним все время? Хотите курить?

— Он живая хроника, — ответил пыльный человечек и потянул из пачки две сигареты. — Если бы вы знали, как мало здесь происходит, то поняли бы, что мне нельзя отставать от него ни на шаг. Мне платят с материала. Нильсу хорошо, он в штате, а меня ноги кормят. — Он зашелся сухим кашлем, распространяя запах табака. — Я обязан Кругу крышей над головой и куском хлеба, — продолжал он, — сигаретами и кофе. Я одного боюсь: что он умрет первым. Два трогательных столбца о похоронах, венках и прочей дребедени, потом ежедневные полстолбца соболезнований в течение недели,

густым потоком, и все, крышка, до свидания, Минти.

– Прошу прощения, – сказал Энтони, – мне надо идти. Не составите компанию?

– Нельзя, – сказал Минти. – Он еще может выйти. Сегодня вечером он был в английской миссии и ушел оттуда рано, очень рано, я его прозевал. Бегал на тот берег перекусить и постоять в церкви. Упустить его еще раз я не могу.

– Он уже не выйдет сегодня, – сказал Энтони, – он чертовски устал.

– Чертовски устал? С чего бы?

– Вероятно, – наугад сказал Энтони, – в связи с болезнью Лаурина.

— Ну, это нет, — ответил Минти, — не от этого. Лаурин — это пустяки.

Кого он волнует? А насчет забастовки он ничего не говорил? Прошел слух... — Он слишком устал, — ответил Энтони, и сегодня ничего не мог обсуждать со мной. Мы увидимся завтра.

— Мы могли бы, — сказал Минти, — у вас есть спички? Благодарю. Могли бы работать вместе. Некоторые частные подробности мне тоже могут пригодиться. Вы, собственно говоря, чем будете заниматься? Вы ведь здесь новичок? — разговаривая, он не выпускал изо рта сигарету; при затяжках лицо застилала серая

пелена, иногда табак вспыхивал и струйка дыма брызгала ему прямо в глаза.

— Да, новичок, — ответил Энтони. — Я буквально только что определился в фирму. Я буду исполнять особые поручения.

— Отлично, — сказал Минти. — Будем работать вместе. Угостите Нильса сигаретой. Он хороший. — Он порылся в карманах старенького пиджака. — Как на грех оставил визитную карточку, но ничего, запишу адрес здесь, на конверте. — Он помусолил огрызок карандаша, мазнул взглядом по галстуку Энтони и выпустил на свою пыльную физиономию искру живого

интереса. — Так вы из наших! — воскликнул он. — Вот было времечко, а? Вы, конечно, уже не застали Хенрикса и Петтерсона. А старину Тестера случайно не помните (шесть месяцев за непристойное поведение)? Я стараюсь держать с ними связь. Вы в чьем пансионе жили?

— Он, скорее всего, появился уже после вас, — сказал Энтони. — Мы его звали «Обжора». Но не всю же ночь вы собираетесь здесь ждать, мистер Минти?

— Я снимусь в полночь, — ответил Минти. — Домой и с грелкой в постель. Вы там давно не были, мистер Фаррант?

— Где — там? Ах — в Харроу? Порядочно. А вы? — Вечность. — Дым застлал ему глаза, и в следующее мгновение они налились кровью и слезами. — Но я не отрываюсь. Время от времени организую здесь маленький обед. Посланник тоже из Харроу. Он пишет стихи. — Вы встречаетесь?

— Он старается не узнавать Минти. — В его надломленном голосе Энтони слышался треснутый колокольчик, который пронесли по спальням, потом зажали свободной рукой и, громыхая ботинками на каменных ступенях унесли под лестницу, в шкаф. Не попадая в нужную интонацию, Минти резанул

слух жаргоном гимнастических залов и раздевалок:

– Вонючий эстет. – Я устал, – сказал Энтони, – пойду. Мы еще увидимся. – Он протянул руку, показав Минти протершуюся манжету.

– За хорошие сведения, – сказал Минти, – я плачу авансом. Если что-нибудь исключительное. Раз вы будете в «Кроге», за вами будут ходить табуном. Не связывайтесь ни с кем. Иностранцы – что они могут? Я здесь уже двадцать лет, я все знаю. Во всяком случае, питомцы Харроу должны держаться вместе. Без этого нельзя. – Сверху звонком вызвали лифт, и Минти стремительно

отвернулся, с усталой
лихорадочностью следя за ползущим
вверх сверкающим стеклом. Рядом в
точности повторял его движения
молодой фатоватый швед,
преданный, словно паж в
елизаветинской драме, разделивший
с государем нищету и изгнание. На
этом Энтони их покинул. Через
раздвижные ворота он вышел на
набережную Висбю. Озеро Меларен
лизало нижние ступеньки лестницы;
чуть выше мостовой приходились
поручни маленького парходика. В
свете фонаря было хорошо видно,
как, отступив, вода окатывала с
разбегу каменные ступени; в кают-
компании двое матросов играли в

карты. Задержавшись, Энтони смотрел через стеклянное окошко, и взгляд его, минуя обитый бархатом диванчик, тянулся к длинному полированному столу.

Карты, подумал Энтони, я бы не прочь сыграть сейчас в карты. Он позвенел в кармане мелочью, попытался разобрать, во что играют. Пароходик мягко терся о пристань, по палубе бродила кошка, запуская когти между досками. Со стороны ратуши донесся звонок трамвая. Энтони еще смотрел на игравших, когда подошедший трамвай засверкал на воде, словно низкое закатное солнце. Один из игроков взглянул на Энтони и улыбнулся. Энтони поднял

воротник пальто и направился в гостиницу. Город как город, думал он; лучше Шанхая; можно сработаться с Минти, как-нибудь продержусь. Побуду недельку, даже если Круг не возьмет, и, распахнув окно, он глубоко окунулся в прохладную вечернюю сырость, увидел чайку, на широких крыльях скользившую вдоль задней улочки, вспомнил: вторник, надо раздобыть денег у Минти или Кейт, а может, у Круга. Как у нас с ней получится? Подарю тигра, она славная. Поверила всему, что я рассказал о Гетеборге. Потом найдем какой-нибудь парк, просто и хорошо. Ее фамилия Дэвидж, живет в Ковентри. Чайка сложила крылья и

спустилась на мусорный ящик. Кейт все равно не нужен тигр, а вазу мы разбили. Кейт с Крогом, подумал он, я с Мод. Как от пронзительной боли он зажмурил глаза, а когда снова открыл их – чайка уже улетела. Мы сидели в сарае, и она сказала: «Возвращайся», – и, конечно, была права: пусть не сразу, но через пару лет я тоже попал в герои. Она сидела у моей постели, и я был счастлив; было очень больно, я мог потерять глаз. В передней я уже мало что понимал, даже не почувствовал, как напоролся рукой на гвоздь, нагнувшись за чемоданами; на пароходе отравился и болел шесть дней; из Адена бросил открытку. С

тех пор живем врозь; ей передавалось, когда мне было плохо, а я чувствовал ее неприятности. Говорят, это дано близнецам в наказание, а я считаю, что, наоборот, это счастье — знать, о чем думает другой, переживать его чувства. Когда такое кончается — вот это наказание. Сейчас с ней Круг.

Он начал быстро распаковываться. Содержимое чемодана, купленного Кейт в Гетеборге, каждой извлекаемой вещью укрепляло его в мысли, что с чем-то надо мириться, что-то принадлежит прошлому и надо принимать жизнь такой, какая она есть, — с удачами и глупостями, с

неудачами и чужим человеком в постели; он достал надорванную фотографию Аннет, которую неаккуратно выдрал из рамки, а в чемодане, не доглядев, еще придавил полоскательницей; вынул галстуки, впопыхах рассованные по карманам, новые кальсоны, новые жилеты и носки, извлек «Четверых справедливых» в издании Таухница, темно-голубую пижаму, случайный номер «Улыбок экрана». Потом опорожнил карманы: карандаш, автоматическая ручка ценой в полкроны, пустой футляр для визитных карточек, пачка сигарет «Де Рески». Он вообще старался не перегружать карманы: костюм

хороший, нужно поберечь. В Гетеборге он купил зажим для галстуков и сейчас аккуратно заправил в него галстук Харроу; остальным такая честь не к спеху. Повесил пиджак на спинку стула и уложил под матрац брюки. Потом прилег в кальсонах и рубашке на кровать; он устал, натерпелся страху перед новыми людьми, теперь пришло время подумать, как извлечь выгоду из нового положения. Бессчетное число раз лежал он вот так же в незнакомых постелях, не уставая строить планы и мириться с их крушением.

Пока я не устроюсь как следует, надо договориться с Минти о равной

доле.

Он закрыл глаза и сразу же, без всякого понуждения и так же ясно, как прежде, услышал в голове мысли Кейт. Словно через истерзанную землю, разделявшую их, по мостам, начиненным динамитом, через враждебно притихшие деревни, минуя брошенные заграждения, ползком пробрался лазутчик и на самой линии фронта, ухватив оба конца, соединил порванный провод, и она смогла передать ему, что все будет хорошо, все уже устроено, она сама проследит, а самое главное — что она его любит. Любовь, думал он, но ведь это то, что у меня с Мод, а у тебя с Крогом. «Там моя спальня», —

сказала она, когда он спросил про дверь, а немного позже чуть не влепила ему пощечину.

Энтони поднялся с постели и стал раздеваться ко сну. Какая все-таки холодная комната (он закрыл окно), и совсем пустая. Он оторвал яркую обложку «Улыбок экрана» и куском мыла приклеил ее к стене: расставив колени, на качелях сидела крутобедрая девица в зеленом купальном костюме. Потом вырвал фотографию Клодетт Колбер в римской бане и примостил ее на чемодане. Тем же мылом прикрепил в головах постели двух нагих красоток, играющих в покер.

Ну вот, подумал он, так уютнее,

и, стоя посреди комнаты, прикидывал, как еще обжечь ее, и слушал жалобы водопроводных труб за стеной.

Я проснулась. Эрик спит, на моем боку его холодная рука. Все устроилось. Он сказал:

— Лаурин заболел, — но я чувствовала, что не в этом дело. Уж очень он устал. Никогда не видела его таким усталым, спит, какая рука холодная. Энтони спит, под глазом

шрам, нож пропорол кроличью шкурку и сорвался, он закричал, кричал не переставая, экономка жаловалась: не может взять себя в руки. Я проснулась среди ночи, услышав его за пятьдесят миль. Поняла, что ему больно. Отец тоже болел. Да меня бы и не отпустили. Весь день экзамен по-французскому, не правильные глаголы, два раза инспекторша водила меня в уборную. Я с ней заговорила, она оборвала:

— Нельзя разговаривать, вы еще не сдали работу. Как старая супружеская пара — тридцать лет вместе. Серебряный медяк, или, по-вашему, золотая свадьба.

Эрик сказал:

– Забастовки не будет. Я справился не хуже Лаурина. – Он сказал:

– Я отпустил шутку, спросил о семье, угостил сигарой. – Я спросила:

– И только? – Он ответил:

– Я гарантировал, что заработная плата в Америке будет снижена. – Я спросила:

– Ты дал ему расписку? – Нет, – сказал он, – просто честное слово. – Как он устал. Не спится, спит, рука холодная, все утряслось. Он спросил:

– Что умеет делать твой брат? – Открытки из Адена, пылесос, прислушивающиеся официантки, «вы сводите меня с ума», моя первая

в жизни рюмка в мюзик-холле, отец спросил:

– Где вы болтались весь день? –

А он ответил:

– Гуляли в парке. – Как ответить? Я сказала:

– У него всегда было хорошо с арифметикой. – Эрик сказал:

– У меня для него ничего нет. Подскажи сама. Что у него хорошо получается? – Я сказала; – Ничего, кроме призовых тигров. – Он подумал, что я спятила, переспросил:

– Призовых тигров? – Я объяснила:

– Прошлой ночью он опустошал тир в Гетеборге, я еле увела его от

них. — Совсем не думала, что это понравится Эрику, это не в его духе; шутка, вопросы, сигара, холодная рука у меня на боку. А он ответил:

— Я дам ему работу.

Мне он тоже сказал:

— Я дам вам работу. — Тесная пыльная контора в Кожевенном ряду. Он не сгибая спины, не сняв перчаток уселся на единственный стул для посетителей, и Хэммонд шаркающей походкой подошел к нему. Спадающее с острого носа пенсне, неуверенный голос, крысиная мордочка. Он, сказал:

— К ней никогда не было претензий, — и, прощаясь, ринулся открывать дверь, пролил на стол

чернила. Друг отца. Он чувствовал за меня ответственность. Предприятие продали, контора шла на слом, отец умирал.

Когда я уезжала из Англии, отец сказал:

— Хорошо бы с тобой был Энтони. — Велел быть осторожной, беречься соблазнов. Сам он никогда не ведал искушений, даже не знал толком, что это значит, и так в неведении медленно умирал в постели. Запах лекарств, сиделка у двери, витражи в прихожей, в шкафу красного дерева комплект «Панча» в голубых матерчатых переплетах; его дядюшка знал Дюморье, он сам помнил возмущение публики, когда

вышла «Трильби». Мне он как-то сказал:

— Не нравится мне мисс Моллисон. Девушке не следует показываться в театре со своим хозяином. — Вечная ему память, он был верен своим принципам, маленький осколок Англии. Энтони писал, что нужно поставить камень, я ответила: «от верных детей» — это очень ответственно, а Энтони настоял, что «верные» — короче и дешевле, во всяком случае вполне прилично. А чему — «верные»? Не выдавай своих чувств. Не теряй голову в любви. Будь целомудрен, благоразумен, возвращай долги. Ничего не покупай в кредит

«Верные» ко многому обязывает Сам он не пожалел лишних букв, стараясь быть точным, и на могиле матери написал – «от безутешного супруга».

Он читал Шекспира, Скотта, Диккенса, сочинял акrostихи. Маленький осколок Англии. Слуги его недолюбливали. Кристальной честности человек. У него были теплые руки, как у меня. Может быть, он по-своему любил Энтони. Почему же я его не любила?

Было за что. Надо все честно вспомнить. Это в его духе, он не обидится. Сейчас глухая ночь, когда могилы отдают своих мертвых. Ему не нравилась «Ламмермурская невеста». Говорил, что там все

преувеличено, что книгу написал больной человек. Был убежден, что «Троил и Крессида» не принадлежат Шекспиру, Потому что Шекспир не был циником. Питал глубокое доверие к человеческой природе. Главное — быть целомудренным, благоразумным, возвращать долги, быть сдержанным в любви. Было за что не любить. Порка в детской, слезы перед отправкой в интернат — Энтони учится выдержке. Порка в кабинете, когда он притащил домой неприличную книжку с красивыми картинками, — Энтони учится уважать чужих сестер. Энтони учится сдержанности в любви. Энтони в Адене, в Шанхае, наконец совсем

отдалившийся от меня, словно в отместку; да, он любил Энтони и погубил его, и Энтони мучил его до самой смерти. Телеграммы, телефонные звонки, улыбающееся лицо над спинкой кровати:

– Я уволился.

Ночью нельзя кривить душой. Эрик спит, холодная рука у меня на боку; все улажено, между нами только набережная, полоска воды и улица, и ночь темнее той темноты, в которую хватило сил не заглянуть. Он повторил за мной:

– Призовые тигры, – и сказал:

– Я дам ему работу. –

Непонятно. Надо бы разбудить и спросить, но он очень устал,

подумает, что я хочу его. А я только однажды его хотела, когда пригласили на обед какого-то посла, и я выпила, они вышли в соседнюю комнату переговорить о делах, и первый секретарь немного распустил руки. Я остановила:

– Не надо, ничего не выйдет. Они в любую минуту могут войти. Хотите еще коньяку? – Он был одного роста с Энтони и Эриком, под правым глазом у него был дуэльный шрам (в зеркале над камином получалось, что под левым), он учил меня ругательствам на своем языке, мы смеялись; я очень хотела уступить ему, но они говорили о делах в соседней комнате; я спросила:

– Вы тоже свежуете кроликов? – и он решил, что я заговариваюсь. В ту ночь я хотела Эрика, хотела кого угодно, хотя бы того мужчину на темной пристани, которого, раздеваясь, видела из окна. Эрик твердил:

– Они сделают заем, сделают, – и не мог заснуть, и мне не спалось, и потом мы были счастливы, по милости чужого шрама и какого-то займа. И той темноты. Энтони где-то под Марселем, отец при смерти, до семи утра горит лампа под глухим абажуром, сиделка читает книгу, кипит чайник, в тазу под марлей стерилизованные тампоны. Год работы в больнице. Смазала йодом

вместо вазелина.

Голубая ваза разбилась, но
Энтони утешил:

— У нас еще есть тигр. — А сошло
бы все так же хорошо, если бы я
сказала Эрику:

— Призовые синие вазы,
портсигары с инициалом "Э"? —
Решил бы он тогда:

— Я дам ему работу? — Тигр,
светло горящий в Тиволи,
бессмертный расчет, рука на бедре,
ноги; даже там на него
засматривались женщины, что за
мастер, полный сил, когда он с
улыбкой оборачивался на ракеты,
ронявшие огненные брызги. Или та
девушка в Гетеборге, нелепо

размалеванная, какая доверчивость, сколько наивности, какая хитрая игра в поддавки. Любимых забудут, обманутых вспомнят. Еще, наверное, улыбнулась делу рук своих. Он сказал:

– Я отдам ей тигра. – Сердца первый тяжкий стук – боже, как я его любила тогда в «Бедфорд-палас» («Мы гуляли в парке», – сказал он отцу). Апельсины кончились, он купил мне арахис.

Сжавшись, я следила за акробаткой, стремительно падавшей на сцену, ревниво завидуя этой белокурой пергидролевой королеве, ее трико и белозубой улыбке. В тот день мне исполнялось шестнадцать

лет; я взглянула на часы; когда стрелки показали 6:43, я сказала:

– Я уже родилась, – а когда стрелки остановились на 6:49:

– С днем рождения, Тони. – На сцену вышел клоун в клетчатых штанах, волоча за собой игрушечного барашка. Словно старая супружеская пара, перебираешь воспоминания за тридцать лет вместе: первая любовь и первая ненависть, первая выпивка и первое предательство, когда я сказала:

– Ты опоздаешь на поезд. – Глоток горечи. Не пошло у него пиво, он поперхнулся и тут кстати поднялся занавес, а я научилась задерживать дыхание и благополучно

справилась с хересом. Потом ели яблоки в Морнингтон-Креснт, чтобы отбить запах. В который раз обманули отца. Безутешные дети. Но как приятно было обманывать вдвоем.

Когда я практиковалась в больнице, он пришел меня проводить, интересовался, не купит ли сестра-хозяйка пылесос. Палата, столы, протертые эфиром, пересчитанные тампоны в тазу с правой стороны, марля, лампы под абажурами, лестница вниз — там Энтони, гаснущее солнце на мостовой, он насвистывает модную песенку. У меня было пятнадцать шиллингов, у него пять. Кино, клуб

на Джерард-стрит, последняя рюмка — больше ни-ни! — приличные девушки не пьют. Дурачок. Сестра-хозяйка меня забраковала, и, когда он уехал за границу, я ушла в Кожевенный ряд. Бухгалтерия, стенография, премия за скорость, хозяин лично поощрил, Хэммонд с крысиной мордочкой. Довожу до сведения моих биографов, что с этого времени я смотрела только вперед. Изворачивалась, комбинировала, экономила — только чтобы опять быть вместе.

Не спится, рука холодная, все уладилось; теперь можно спать.

Новых эмиссий не будет, на рынке стабильное положение. Можно

спать.

Исходное равновесие
поддерживается, средние
поднимаются, проценты выше, курс
растет, в ответ на спрос, растет, наша
взяла, курс растет, противодействия
нет, курс растет, Энтони наше
долговое обязательство, наше
обязательство, Энтони, какую
извлечь выгоду, наше долговое
обязательство, наше будущее
стабильно, новые выплаты, курс
растет. Ничего не бояться. Прочь
сомнения. Нет причин для страха. На
этой бирже не играют на повышение.
Тигр горящий. Полночная чаща.
Спать. Наше долговое обязательство.
Новая выплата. Наш курс растет.

Господь, который ягненка сотворил,
Уитикера сотворил, Ловенстайна. —
Вы счастливица, — сказал тогда
Хэммонд. — «Крог» — это надежно.
Что бы ни случилось, люди всегда
будут его покупать. — На рынке
стабильное положение. Набережная,
между нами вода и улица. Спать.
Новая выплата. На этой бирже нет
спекулянтов. Тигр и ягненок.
Медведи. Полночная чаша. Спать.
Фонды обеспечены. Последний курс.

Едва выбравшись из постели, Минти знал, что сегодня будет удачный день. Бреясь, он вполголоса напевал: «Вот путь, идите по нему». Бритва была новая, но он ни разу не порезался; он брился осторожно, не гонясь за чистотой; на умывальнике остывал кофе, принесенный хозяйкой. Минти любил остывший кофе, его желудок не принимал ничего горячего. Через стекло перевернутого стакана за ним наблюдал паук; он сидел там уже пять дней;

Минти рассчитывал, что хозяйка

его выбросит, но тот остался и на второй день, и на третий. Он не стал трогать стакан и прополоскал рот под краном. Она теперь наверняка думает, что паук сохраняется в научных целях. А кстати, сколько он может там прожить? Минти посмотрел на паука, тот ответил настороженно-внимательным взглядом. Ловя паука стаканом, Минти отхватил ему одну ножку.

Над кроватью висел школьный снимок: сжатые по бокам префектами, сидят заведующий пансионом с супругой, а перед ними и сзади них, щурясь на солнце, выстроились шеренгой мальчики. Любопытно, что нафабренные

кончики усов в такой же степени точная примета времени, как дамский туалет — белая блуза, воротник на китовом усе, рукав с буфами. Иногда Минти просили показать себя на снимке; со временем он научился делать это безошибочно; правда, он уже забыл, где полагается быть помощнику заведующего, и поэтому не мог решить, кто сидит слева от заведующего, а кто стоит за его плечом, потеряв подбородок за складками буфа, — Петтерсон или Тестер. Самого же Минти на снимке не было, он видел всю процедуру из окна изолятора; вспышка света, сощуренные от солнца глаза на

загорелых лицах, нырнувший под свое покрывало фотограф.

«Вот путь, идите по нему». Он взял из мыльницы окурок сигареты, раскурил его. Потом в зеркале на дверце шкафа внимательно проверил волосы: надо ко всему быть готовым, даже к обществу. Его беспокоила перхоть; он смазал голову остатками крема, причесался и проверил результат. Теперь хорошо. Не вынимая изо рта сигареты, выругался, но так тихо, что, кроме него, никто бы не расслышал: «Святой Кнут». Он сам придумал это ругательство; как добрый католик он не любил сквернословия и считал достаточным богохульством сказать:

«Святой Кнут». Минти надел черное пальто и спустился вниз. Был вторник, двадцать третье число. Сегодня должно быть письмо из дома. Скоро двадцать лет, как Минти забирает на центральном почтамте свою ежемесячную корреспонденцию; так удобнее, не надо никого предупреждать о перемене адреса. На вокзальной площади он почувствовал, что солнце припекает изрядно, однако у него было заведено ходить за письмами непременно в пальто. Окурок он хорошо припрятал, чтобы его не нашел никакой нищий. Просунув в окошечко «до востребования» карточку с истрепавшимися углами,

Минти задумался о том, какую великую честь он оказал Стокгольму, избрав его своим местопребыванием: что ни говорите, англичанин, да еще выпускник Харроу. Никто же не усомнится, что он свободный джентльмен и может жить всюду, где есть почта и возможность проявить себя.

К его удивлению, писем было два; такое событие стоит отпраздновать еще одной чашкой теплого кофе. Он выбрал кожаное кресло в открытом кафе против вокзала, сел лицом к улице и стал ждать, когда кофе остынет. Он был до такой степени уверен в сегодняшнем дне, что раздавил пяткой окурок и

купил новую пачку. Потом попробовал кофе с ложечки – еще горячо. Он уже распечатывал письмо, когда его отвлекло необычное оживление на вокзале. Несколько человек с кинокамерами перебежали улицу. Промчался Нильс. Минти махнул ему рукой. Он вспомнил: «Возвращение кинозвезды». Несколько дней назад он заработал шестьдесят крон, переводя на шведский язык все сплетни, которые удалось выудить в киножурналах. «Потрясающая любовница экрана», «Загадочная женщина из Голливуда». Раздались приветственные возгласы (кто их нанял? – гадал Минти), на тротуаре, держа под мышкой

портфели, задержалась деловая публика, сердито глядя в сторону вокзала. Прохожие загораживали Минти площадь. Он встал на стул. Хотя ему и не поручали, но посмотреть никогда не мешает. В Швеции не особенно любили эту актрису; вдруг случится какая-нибудь неприятность и кому-нибудь понадобится замять скандал. Положим, ее освистают... Но нет, ничего не произошло. На выходявшей из вокзала женщине было верблюжье пальто с большим воротником и серые фланелевые брюки; Минти успел увидеть бледное, осунувшееся, застывшее лицо, длинную верхнюю губу, неестественно красивую и

неестественно трагическую маску, знакомую по портретам Данте. Зажужжали кинокамеры, женщина заслонила лицо руками и вошла в автомобиль. Кто-то (кто же это все оплачивает? — волновался Минти) бросил роскошный букет цветов, не рассчитал, и цветы упали на дорогу. Никто не стал их поднимать. В кабину юркнула какая-то карлица в глубоком трауре и под черной вуалью, автомобиль отъехал. Репортеры сошлись у вокзала, и Минти расслышал их смех.

Он распечатал первое письмо. Скотт и Джеймс, стряпчие. «Прилагаем денежный перевод на сумму 15 фунтов, составляющих ваше

месячное содержание по двадцатое сентября сего года. Просим вернуть расписку в получении. Поручители: ГЛ – РС». «ГЛ» – Минти задумался. Раньше этих инициалов не было. В старую фирму влили новую кровь. Впервые за двадцать лет в форму письма вкралось маленькое разнообразие, Минти понравилось, что он это заметил. Перед вторым письмом он выпил кофе – за удачу! Святой Кнут, это тетя Элла. Совсем забыл, что старуха (отсохни твой язык, Минти) еще жива.

«Мой дорогой Фердинанд».

Минти споткнулся. Он очень давно не видел этого слова. Конечно, полагается писать имя на банковских чеках, но Минти умудрялся делать это безотчетно. «Мой дорогой Фердинанд». Он рассмеялся и помешал ложечкой кофе: Фердинанд! – все правильно.

«Мне сдается, что я уже давно не имела от тебя никаких известий». Еще как давно, подумал Минти. Пожалуй, все двадцать лет. "На днях я разбирала ящики, готовясь к переезду, и случайно наткнулась на твое старое письмо. Оно

забилось в самый угол, где я держу ненужные блокноты. Я подумала, и вышло, что мы с тобой сейчас единственные Минти по прямой линии. Правда, еще здравствует семья твоей кузины Делии, есть Минти в Хартфордшире, но мы с ними никогда особо, не соприкасались, и, конечно, еще твоя матушка, но она Минти по мужу. Смешно, я подумала сейчас, что мы все Минти по мужу. Короче, я взяла твое письмо и с огромным

удовольствием перечитала его. Ты остался верен себе и не проставил дату, так что мне трудно сказать, когда я его получила. Вероятно, несколько лет назад. Я прочла, что тебе очень нравится Стокгольм, и надеюсь, что ты не разочаровался в нем с тех пор. По правде сказать, я забыла, зачем ты уехал в Стокгольм, спрошу, если опять не забуду, у твоей матушки, когда увижу ее, но у бедняжки стала совсем плохая память, и я не удивлюсь, если она не

помнит, кем ты работаешь. Должно быть, это что-то выгодное, иначе ты давно бы вернулся в Англию. Кстати, мои маклеры только что купили для меня норвежские государственные бонды. Любопытное совпадение, правда? Я сейчас просматриваю твое письмо, ты просишь в долг пять фунтов; теперь ясно, что письмо написано много лет назад, когда ты только начинал свою деятельность. Безусловно, я тогда же послала тебе

деньги, но вернул ли ты их — точно уже не помню. Ладно, будем милосердны и поверим, что вернул. В конце концов, это старая история. Тебя, конечно, интересуют домашние новости. Но про смерть дяди Лори и историю с близнецами Делии ты узнаешь от своей матери, обо всем важном она тебе сообщит. На днях я видела на станции Факенхерст молодого человека из Харроу — еще одно совпадение!

Твоя любящая тетушка

Элла".

Да, подумал Минти, поистине знаменательный день. Весточка из дома. Как долго стынет кофе. Пока есть настроение, надо бы написать матери. «В своем последнем письме тетя Элла упомянула...» Как бы старушку удар не хватил, когда она разберет на конверте мой почерк. Не сладко почти. Еще кусочек. Адреса не знаю, а если послать через стряпчих, то они вернут обратно. Поручители «ГЛ – РС». Теперь остыл. Можно послать в отдельном конверте на адрес тети Эллы, пусть наклеит марку и сама перешлет, куда надо. Английская марка и мой

почерк. Мать с ума сойдет, но терпение, Минти, терпение, у тебя разыгралась фантазия. Нельзя ставить под удар ежемесячные пятнадцать фунтов, аккуратные и точные, как часы. Поручители «ГЛ – РС». – Я все вижу, Нильс, – Минти в шутку погрозил пальцем молодому человеку, стоявшему на мостовой, – ты знаешь, что у меня сегодня получка, и хочешь выпить кофе. Это можно. Сегодня особенный день. Я получил письмо от своих.

Нильс поднялся по ступенькам с улицы, застенчивый и грациозный; так молодой олень, уткнувшись носом в ограду, провожает взглядом текущую мимо него жизнь. И Минти

был эта жизнь. Минти прихлебывал кофе, собрав вокруг губ желтое кольцо. – Возьми сигарету. – Минти добрый. – Спасибо, мистер Минти.

– Какой переполох на вокзале.

– Да, мистер Минти. Она прекрасная актриса.

– Это она заплатила за цветы?

– Не думаю, мистер Минти.

Оттуда выпала карточка. Вот.

– Отдай ее мне, – сказал Минти.

– Я подумал – вдруг она вам пригодится, мистер Минти. – Ты славный парень, Нильс, – сказал Минти. – Бери еще сигарету. Про запас. – Он взглянул на карточку. – Возьми всю пачку. – Что вы, мистер Минти...

– Ну, если не хочешь, – уступил Минти и, опустив пачку в карман, поднялся. – Дело не ждет. Проза жизни. Хочешь не хочешь, а деньги надо зарабатывать.

– Вас спрашивал редактор, – сказал Нильс.

– Что-нибудь неприятное?

– Кажется, да.

– А я не боюсь, – сказал Минти. – У меня в кармане пятнадцать фунтов и письмо от своих. – Он решительным шагом вышел на улицу, завернул за угол; низкорослый, да еще в длинном черном пальто – конечно, он выглядел пугалом; над ним смеялись, он это знал. Когда-то это отравляло

ему жизнь, но все проходит. Спасаясь в переулки, он малыми дозами наглотался столько этого яда, что теперь стал нечувствителен к нему. Теперь он мог показываться даже на центральных улицах, мог останавливаться и разговаривать с самим собой, отражаясь пыльным своим обликом в витринах галантерейных магазинов; он почти не замечал улыбок окружающих, только внутри набухала и пульсировала тихая злоба.

Ее накопилось порядочно, когда он наконец добрался до редактора, преодолев длинные лестничные марши, типографию и закрыв за собой последнюю стеклянную дверь.

Нет, какая все-таки гадость эти рыжие военные усы, командирская речь, деловая хватка — право, такому человеку самое место где-нибудь на заводе. Чтоб он свернул себе там шею. — Да, герр Минти?

— Мне сказали, вы меня спрашивали.

— Где был вчера вечером герр Крог?

— Я на минуту сбегал перехватить чашку чая. Кто мог знать, что он так неожиданно уедет из миссии?

Редактор сказал:

— Мы не очень много получаем от вас, герр Минти. Есть сколько угодно людей, которых можно

использовать на внештатной работе. Придется подыскать кого-то другого. Для хроники у вас не очень острый глаз. — Он выдохнул воздух из легких и неожиданно добавил:

— И со здоровьем у вас неважно, мистер Минти. Хотя бы эта чашка чаю. Швед обойдется без чаю. Это же яд. Вероятно, вы и пьете его крепкий.

— Очень слабый, герр редактор, и холодный, с лимоном.

— Надо делать гимнастику, герр Минти. У вас есть радиоприемник?

Минти покачал головой. Терпение, думал он, снедаемый злобой, терпение. — Будь у вас радиоприемник, вы бы делали

гимнастику, как я: каждое утро, под руководством опытного инструктора. Вы принимаете холодный душ? – Теплый душ, герр редактор.

– Все мои репортеры принимают холодный душ. Вы ни в чем не будете успевать, герр Минти, имея сутулую спину, слабую грудь и дряблые мышцы. Ну, это уже знакомый яд. Им недавно помаленьку травили родители, учителя, прохожие. Сгорбленный, желтый, с куриной грудью, Минти имел надежное убежище: у него была неистощимая на выдумки голова; он моргнул опаленными ресницами и с вызывающей дерзостью спросил:

– Значит, я уволен?

— Если вы еще раз упустите возможность...

— Может, мне лучше уйти сейчас, — настаивал Минти, — пока есть с чем?

— А что у вас есть?

— В компании будет работать мой друг, брат мисс Фаррант. В качестве доверенного лица.

— Вы отлично знаете, что мы не скупимся.

— Ясное дело, — сказал Минти, — а что мне полагается за Это? — и он выложил на стол перепачканную в грязи визитную карточку. — Она осталась без цветов, — объяснил Минти. — Цветы лежат на дороге. Вот что значит поручать дело репортерам

с атлетическим сложением. Бросить как полагается не умеют. Попросили бы Минти, — и, грозя пальцем, Минти вышел из кабинета; он совершенно захмелел после двух чашек кофе, денежного перевода и письма от тети Эллы. В редакции он увидел Нильса. — Я поставил его на место, — сообщил он. — Некоторое время не будет приставать. Крог вышел из дома? — Нет еще. Я только что звонил вахтеру.

— Задерживается, — сказал Минти. — Давно не виделись. Ночь любви. Все мы люди, — и, втянув щеки, поеживаясь на сквозняке, тянувшем из широкого окна, обежал глазами столы в надежде наказать

чь-нибудь рассеянность, но сигарет
нигде не было. — Похолодало. К
дождю, — и в разгар его поисков
дождь пошел; с озера навалилась
огромная бурая туча, дирижаблем
повиснув над крышами; в
подоконник резко и осторожно
ударили первые капли, потом
зачастили и побежали по стене.

Закусывавших под открытым
небом ливень захватил врасплох.
Пока с Меларена не пришла туча, на

солнце было жарко. Вместе со всеми бежал под крышу и Энтони. На улице потемнело, но еще долго не зажигали огня, надеясь, что погода разгуляется. Потом официанты неохотно включили несколько ламп, света почти не прибавилось, и скоро их одну за другой погасили. Снаружи дождь барабанил по столам, нещадно поливал бурые листья на площади, усердно отмывал мостовую. Энтони заказал пиво. Он был без пальто и без зонта. Лучше переждать здесь. Пока доберешься до Круга, насквозь вымокнешь, погубишь единственный костюм. Он думал о том, что надо беречь вещи и здоровье, вспоминал, какая у них была детская в

последний год перед школой. Зонты проплывали мимо, словно черные блестящие тюлени; непонятная чужая речь раздражала. Понадобись ему прикурить или узнать дорогу — как объясниться? Официант принес пиво; это в какой-то степени означало общение, раз официант понял, что спрашивали пиво. Бледный свет ламп в дневном полумраке, этот официант, кресло, стол, «клочок земли чужой, что Англии навек принадлежит», — все настраивало на меланхолический лад. И в облике его проступило благородство, гордая замкнутость изгнанника, когда он смотрел через забрызганное стекло и, забыв думать

о неотложных делах вроде «Крога» и Кейт с отчетом о его судьбе, воображал, как дождь сечет заброшенные безымянные могилы, как впитывается в почву вода.

— Как сыро, — обратился он к официанту. — Деревья... — Заговорив о погоде, он хотел немного укрепить свой клочок Англии; он хотел сказать, что если дождь зарядит надолго, то скоро все листья облетят. Ему хотелось озвучить свой клочок, оживить его чем-то вроде фотографии Аннет и картинок из «Улыбок экрана»; ему хотелось проводить здесь часы. Он будет здесь питаться, к нему привыкнут.

Официант не понял.

– Bitte, – сказал он, волнуясь. – Bitte. – Пришел метрдотель. – Bitte, – успокоил он, – Bitte. – Он ушел и вернулся с уборщицей. – Что вам угодно? – спросила та по-английски. Ему совершенно нечего было сказать, и, хотя перед ним стояла почти нетронутая кружка, пришлось заказать еще одну. Он видел, как в другом конце зала официанты судачат. Главное, что это официанты: с официантками куда проще отстоять свой английский клочок. За последние десять лет он объездил полсвета, и всегда получалось, что Англия рядом. Он работал в таких местах, где его предшественники уже освоили английский клочок – даже в

восточных борделях женщины понимали английский язык. Всегда был клуб (покуда он оставался его членом), партия в бридж, неоготическая англиканская церковь. Сквозь чужое стекло он смотрел на чужой дождь и думал: Круг не даст работу. Завтра поеду обратно. И тут же улыбнулся, забыв обо всем на свете, потому что за стеклом, подняв воротник пальто, в промокшей шляпе стояла и смотрела ему в глаза Англия.

— Минти, — позвал он, поражая официантов. — Минти!

Вошел Минти, настороженным взглядом окинув столики. — Вообще-то я сюда не хожу, — сказал он. — Эти

молодчики из миссии... мы не очень ладим. — Он сел, сунув шляпу под стул, наклонился и доверительно сообщил:

— Это посланник их науськивает. Я абсолютно уверен. Он меня терпеть не может.

— А что они делают?

— Смеются, — ответил Минти и взглянул на пивные кружки. — Кого-нибудь ждете?

— Нет, — ответил Энтони. — Хотите пива?

— Если позволите, — сказал Минти, — я бы выпил чашечку кофе. Я противник крепких напитков. Не из моральных соображений — просто они не для моего желудка. После

операции, которую я перенес десять лет назад, точнее – почти десять лет назад. Двадцать первого августа будет как раз десять лет. В день Святой Жанны Франсуазы Шантальской, вдовицы. Я был между жизнью и смертью, – продолжал Минти, – целых пять дней. Я обязан своим избавлением святому Зефирину. Простите, я вам надоел. – Нет, нет, – заверил Энтони, – нисколько. Это очень интересно. У меня тоже была операция десять лет назад, и тоже в августе. – Глаз?

– Нет. Это... рана. Осколок. У меня был аппендицит. – У меня в том же районе, – сказал Минти. – Правда, аппендикс не стали удалять.

Побоялись. Разрезали и сделали дренаж. – Дренаж?

– Именно. Вы не поверите, сколько они выкачали гноя. Кувшин, не меньше. – Он подул на кофе, который принес официант. – Приятно побеседовать с соотечественником. И такое совпадение – вы тоже были в пенатах. – В пенатах?

– В школе, – пояснил Минти, помешивая кофе, и, злобно прищутив ликующие глаза, продолжал:

– В чемпионах, небось, ходили, а? Старостой были? Энтони замялся.

– Нет, – сказал он.

– Погодите, а в каком, я забыл, пансионе...

Энтони взглянул на часы.

– Простите. Мне надо идти.

Меня с утра ждут в «Кроге». – Я вас провожу, – сказал Минти. – Мне тоже в те края. Не спешите. Круг только что пришел в контору.

– Откуда вы знаете?

– Я звонил вахтеру. Такие вещи надо знать. А то получится как вчера.

– Неужели все, что он делает, идет в хронику? – Почти все, – ответил Минти. – А то, что он делает тайно, – это заголовки, экстренные выпуски, телеграммы в Англию. Я человек религиозный, – продолжал Минти, – мне приятно сознавать, что Круг – ведь он богатейший в мире человек, диктатор рынка, кредитор

правительственных кабинетов,
всесильный маг, превращающий
наши деньги, колоссальные
миллионы в дешевую массовую
продукцию «Крога», – приятно знать,
что этот самый Круг такой же
человек, как все, что Минти за ним
все видит, все замечает, а то и
подложит ему на стул канцелярскую
кнопку (вы Коллинза-то, историка,
помните?). Это для меня как
вечерняя молитва, Фаррант, как vox
humana. «И возвысит униженного и
смиренного духом». Партридж,
бывало, любил... вы, конечно, знаете,
о ком я...

– Партридж?

– Старший капеллан. Он всего

год-два назад ушел на покой. Очень странно, что вы не помните Партриджа.

– Просто я задумался, – сказал Энтони. – Дождь прошел. Я должен попасть в компанию, пока он снова не зарядил. Я без пальто.

Он шел быстрым шагом, но Минти не отставал, Минти, в сущности, вел его: в нужную минуту брал под руку, в нужный момент останавливал, в нужном месте переводил через улицу. В продолжение всего пути он рассуждал о функции священнической рясы. Про Харроу он вспомнил только перед воротами «Крога».

— Я хочу организовать обед выпускников Харроу, — сказал он. — Вы, конечно, возьмете билет, а кроме того я поручу вам посланника. Посланник не любит Минти, и если бы Минти был сквернословом... — он епископским жестом воздел руку с пожелтевшими пальцами. — Святой Кнут! Энтони оглянулся — Англия мыкалась у порога, наблюдая за ним через кованый орнамент ворот, выставив по обе стороны тонкого железного прута налившиеся кровью глаза. Он догадался про Харроу, понял Энтони, и хочет, чтобы я сознался; боже мой, содрогнулся он, уходя от пристального взгляда Минти, вот так статуя, фонтан, с

позволения сказать; странные вкусы в «Кросе»; таким кошмарам место только на Минсинг-лейн; что у них — камень вместо сердца? Ступив за вахтером в стеклянный лифт, он со знакомым неудобством ощутил свое положение просителя и забыл о Минти. Больше всего на свете он не любил просить работу, а получалось, что он только этим и занимался. В нем закипало раздражение против Круга: откажет — плохо, возьмет — тоже плохо. Если он меня возьмет, то ради Кейт, из милости. А есть у него право на милосердие? Про меня хотя бы не скажешь, что я каменный. Внизу наконец изгладился фонтан, его сырая масса растеклась по серой

поверхности бассейна, и Энтони с гордостью подумал: «Я не истукан какой-нибудь, а живой человек. Пусть у меня есть слабости — это человеческие слабости. Выпью лишнего, новую девушку встречу — что тут особенного? Человеческая природа, человеческое мне не чуждо», — и, расправив плечи, он вышел из лифта. На площадке его поджидала Кейт, Кейт приветливо улыбалась, тянулась обнять его, наплевав на лифтера и на то, что мимо семенит служащий с папкой бумаг, и горделивое «я не истукан какой-нибудь» звучало слабее, тише, растворяясь в чувстве благодарности, словно в глубину улицы уходили

музыканты и на смену им подходила другая группа, трубившая громко и волнующе: молодчина Кейт, не подвела. — Явился наконец, — сказала Кейт.

— Дождь задержал. Пришлось прятаться.

— Зайдем на минутку ко мне.

Он пересек лестничную площадку, осматриваясь по сторонам: металлический стул, стеклянный стол, ваза с чайными розами; вдоль стен протянулись инкрустированные деревом морские карты, отмечающие время суток во всех столицах мира, почтовые дни для каждой страны и где в данную минуту находится судно. В комнате

Кейт те же металлические стулья и стеклянные столы, такие же чайные розы. Она повернулась к нему:

— У тебя есть работа, — и хлопнула в ладоши; она казалась помолодевшей на девять лет. — Это мне награда за труды. — Она смотрела с таким преданным обожанием, что ему стало не по себе от ее неразумной кровной привязанности. — Энтони, как хорошо, что теперь ты будешь рядом.

Он постарался разделить ее восторг:

— Да, Хорошо, я тоже подумал. — Конечно, приятно, что она так радуется, его переполняла благодарность, но эти чувства далеки

от любви. Разве любят из благодарности? Или эта духовная принудилровка — чтение чужих мыслей, чувство чужой боли: разве у других близнецов этого нет? Любовь это когда легко, радостно, это Аннет, Мод. — Так что он мне поручает, Кейт? — Не знаю. Только, пожалуйста, не настраивайся против. Это настоящая работа, не подачка. Ты ему в самом деле нужен. — А если работа не по мне?

— Да нет, тебе понравится, я уверена. Попробуй, во всяком случае. Мне плохо здесь без тебя. А так мы будем все время рядом, будем вместе отдыхать, развлекаться.

— Очень мило, — улыбнулся

Энтони, – а когда я буду работать? Кстати, ты хоть представляешь, где это будет происходить? Где-нибудь на заводе? Это бы ничего, я всегда интересовался техникой. Помнишь, как я наладил старый автомобиль и на Брайтон-роуд выжимал двадцать миль? Но, скорее всего, это будет что-нибудь бухгалтерское – тут, в основном, вся моя практика. – И хватит разлук: ты в Китае – я в Лондоне, ты в Индии – я в Стокгольме.

– Теперь наглядимся друг на друга. Еще надоем тебе.

– Этого никогда не будет.

– Такая идиллия была у нас только в раннем детстве, до школы. А

на каникулах не успеешь оглянуться, как все кончалось. — Я этого ужасно боюсь.

— Чего именно?

— Что эти каникулы тоже ненадолго.

Сознание ошибки мучительно пронзило его: все-таки это любовь, как несправедливо, что она его сестра. Какая потеря, какая беда. В ней бездна обаяния, думал он, в ней порода, шик. Все не те слова просились с языка. Что слово с делом у нее не расходится, что на нее можно смело рассчитывать. Надо было сказать просто — что он любит ее, но тут над дверью зажегся свет и она опередила его:

– Эрик. Он тебя ждет. –
Возможность была упущена,
осталось чувство вины, грустный
осадок, привкус невезения,
плохонького оркестра и,
спохватившись, клянешь себя за
нерешительность и недостаток
доброты. И деньги были, и даже не
жалко их – отчего замешкался,
может, собственное счастье
упустил... – Ну, я пошел. Как я
выгляжу? Ничего на носу, выбрит
чисто?

– Хорошо выглядишь. А вообще
Эрик не обращает на это внимания.
Всюду Эрик, подумал он и попытался
разжечь в себе ревность, воображая
торжествующее лицо Крога,

заполучившего Кейт, но перед глазами почему-то встали каменные ступени, ведущие к знакомой квартире, побеленная стена, карандашные записи на ней. «Вернусь в 12:30». «Молока сегодня нет». У Крога свое, у меня свое, никто никому не мешает. Кейт открыла дверь. Проходя, он задел ее плечом. Брат и сестра, привязанность, привычка, все правильно и спокойно. Чего ради я стану ревновать к нему? Любовь — это когда в пустой квартире надывается звонок, когда среди сплетенных сердец, между «Ушел в пивную рядом» и «Вернусь в 12:30» ищешь свою запись, потом по

скользким от мыльной воды ступеням спускаешься вниз, начало всегда хорошее, конец всегда плохой. – Спасибо, что нашли для меня время, мистер Круг, – выпалил он с порога. Он отчаянно трусил, хорохорился, его пьянила злая радость, потому что ниже падать некуда: просить работу у любовника сестры, с точки зрения любого клуба, – самое последнее дело. Он устремил на Круга свой положительный, продуманно чистый взгляд.

Напрасный труд. Круг даже не смотрел на него. Он кивнул в сторону кресла. – «Садитесь», стал возиться с зажигалкой. Он застенчивый

человек, растерянно подумал
Энтони.

— Сначала мне показалось, что я
ничего не смогу вам предложить, —
начал Круг. — Наш расчетный отдел
полностью укомплектован. Ведь вы,
если не ошибаюсь, в основном
занимались бухгалтерией? — Да, —
ответил Энтони.

— Как вы понимаете, я в эти дела
не вникаю. Я полагаюсь на отчеты
заведующего отделом. А он
удовлетворен своими сотрудниками.
Согласитесь, я не могу взять и
уволить опытного работника,
который удовлетворяет... —
Разумеется.

— Я знал, что вы меня поймете, —

сказал Круг. — Однако я хочу вам помочь — вы брат мисс Фаррант, а мисс Фаррант... — он запнулся, поднял сухое бесстрастное лицо, отчего-то принявшее тревожное выражение, и взглянул на дверь в приемную секретарши; потом опустил глаза на пульт сигнализации — похоже, он хотел спросить у самой Кейт нужное слово. — Она оказывает мне бесценные услуги, — выговорил он наконец и без перехода спросил:

— Вы знаете Америку?

— Я был один раз в Буэнос-Айресе.

— Я говорю о Соединенных Штатах.

— Нет, — ответил Энтони, — в

Штатах я не был. — У меня там капиталовложения, — объяснил Круг, опять теряя нить разговора. — Сигарету?

— Благодарю.

Протягивая зажигалку, Круг заговорил обеспокоенно и громко, но плотный воздух, стиснутый звуконепроницаемыми окнами и дверью, поспешил заглушить его голос.

— Предложение, которое у меня есть для вас, может показаться странным. Возможно, вы не захотите его принять. — Им овладела мучительная растерянность, и, ничего еще не сказав, он пояснил в оправдание:

— Я не могу обратиться к полиции с такой просьбой.

— А что нужно сделать? Украсть что-нибудь? — осторожно спросил Энтони. — Украсть! — воскликнул Круг. — Конечно, нет. — Он поерзал, нервно сглотнул и решился. — Мне нужна личная охрана. Вчера... конечно, пустяки, треск выхлопной трубы, но я испугался... и подумал, что я совершенно незащищен, если вдруг... Вам может показаться, что это пустые страхи, но в Америке такие вещи случаются сплошь и рядом. А вчера у меня были беспорядки на заводах. Вы не поверите, но...

— Нет, отчего же, верю, —

подхватил Энтони. Он не раздумывал ни минуты, и только отсутствующее выражение его правдивых глаз могло подсказать, что он обшаривает Буэнос-Айрес, Африку, Индию, Малайю, Шанхай, спешно отыскивая подходящую историю. – Помнится, я встретил одного парня, он был телохранителем Моргана. Это было в Шанхае. Так он мне сказал, что они все имеют телохранителей. Он говорил... Да что там, это только разумно. Даже у кинозвезд есть телохранители.

– Но у нас, в Стокгольме...

– А вы должны идти в ногу со временем, – велел Энтони. Он обрел прежнюю уверенность в себе. Он

продавал себя, как прежде продавал шелковые чулки и пылесосы; твердый взгляд, нога уже за порогом, деловитая скороговорка, никогда, впрочем, не мешавшая оставаться джентльменом (оправдывая перед мужьями ненужные приобретения, они потом так и говорили: «Это был настоящий джентльмен»). — И я именно тот человек, который вам нужен, мистер Крог. Я бы мог показать вам выигранные кубки, серебряный приз. — Он не забыл дать патетический штрих, который окончательно оправдывает покупателя в собственных глазах («бедняга, он хлебнул горя»). — Правда, я многое распродаю, мистер

Крог. Когда очень прижало. Помню, вышел из ломбарда и бросил квитанцию в ближайшую урну, и, поверите, ни о чем я так не жалел в жизни, как о серебряном ерергне, который выиграл в шанхайском клубе; пришлось изрядно постараться — отлично стреляли люди. Замечательный был ерергне.

— Значит, вы согласны на эту работу? — спросил Крог.

— Разумеется, согласен, — ответил Энтони.

— Пока я в правлении, вы свободны, но в остальных случаях вы будете всегда возле меня.

— Нужно все обставить как полагается, — сказал Энтони. —

Пуленепробиваемое стекло, металлические козырьки. — Не думаю, что это может потребоваться в Стокгольме. — Тем не менее, — возразил Энтони, с нескрываемым отвращением окидывая стеклянные стены, — сюда, например, очень легко кинуть бомбу. Фонтан, конечно, ничего не потеряет...

— Как вас понимать? — быстро спросил Круг. — Вам не нравится фонтан?

— Простите, — вскинул брови Энтони, — а разве он может нравиться?

— Это работа лучшего шведского скульптора.

— Снобы, конечно, оценят, —

сказал Энтони. Он подошел к окну и хмуро посмотрел вниз, на фонтан, на этот зеленый, взмокший камень под серым небом. — Зато стоит хорошо, — успокоил он.

— Вы думаете, это плохая статуя?

— Я думаю, безобразная, — ответил Энтони. — Если таков шведский идеал красоты, то я предпочту идеалы Эджуэр-роуд.

— Но лучшие знатоки, — забеспокоился Круг, — они в один голос утверждали...

— Это же одна лавочка, — сказал Энтони. — Вы спросите людей попроще. В конце концов, ведь они покупают продукцию «Круга». — Вам нравится эта пепельница? — не

сдавался Круг.

— Отличная пепельница, — ответил Энтони.

— Ее проектировал этот же самый человек.

— Ему удаются безделушки, — объяснил Энтони. — В том-то и беда, что вы дали ему баловаться с таким большим камнем. Надо бы что-нибудь поменьше. — А вашей сестре нравится.

— Кейт — прелесть, — усмехнулся Энтони, — она всегда прибалчивала снобизмом.

Круг тоже подошел к окну. Сумрачным взглядом окинул дворик.

— Вахтеру тоже не понравилось, — сказал он.

– Но раз вам нравится...

– Я не уверен. Совсем не уверен, – ответил Круг. – Есть вещи, которые я не понимаю. Поэзия. Стихи вашего посланника. У меня не было времени для всего этого.

– У меня тоже, – сказал Энтони. – Просто у меня врожденный вкус.

– Вы любите музыку?

– Обожаю, – ответил Энтони.

– Сегодня мы идем в оперу, – сказал Круг. – Значит, вам не будет скучно?

– Я люблю приятный мотивчик, – подтвердил Энтони. Он промычал два-три такта из «Маргаритки днем срываю»,

помолчал и, озадачив собеседника, сделал рукой легкий прощальный жест. Опять у меня есть служба. Ваш преданный слуга идет в гору. Теперь заживем. — Готов спорить, у вас масса дел, — сказал он. У двери задержался:

— Мне нужны деньги на барахло. — Барахло?

— Белый галстук и вообще.

— За этим проследит мисс Фаррант, ваша сестра.

— Хорошо, — ответил Энтони. — Я не прощаюсь, увидимся.

Перемена, решил Минти. Ему было больно выговаривать школьные слова, но они первыми просились на язык. Ему доставляло горькое, мучительное удовольствие вместо «освободился» сказать: «перемена». Тут была одновременно любовь и ненависть. Их соединил — его и школу — болезненно-замученный бесстрастный акт, после которого оставалось только сожалеть, не знать любви, ненавидеть и при этом всегда помнить: мы едины плоть.

А этот думает, что можно нацепить галстук Харроу и спокойно разгуливать в нем! Никакой капитан команды, никакой член клуба

любителей атлетики в галстук бантиком и в вязаном жилете не мог, вероятно, испытывать столь же яростного возмущения. Просто Минти умел владеть собой. Когда вам выкручивают руки, загоняют в икры стальные перья, рассыпают ладан и в клочья рвут бумажные иконки — поневоле научишься самообладанию. Да, долгим и трудным союзом была для Минти школа; и сплеховал не он — струсил его сообщник, когда наконец приспел коварно и терпеливо выжданный час расплаты и втянутый в переписку аптекарь с Черинг-Кросс-роуд прислал обычные на вид пакетики. И сообщник уцелел, хотя не дотянул до

шестого класса и кем-то устроился в Сити, а Минти после многочасового объяснения с заведующим пансионата вылетел: его не стали исключать, мать будто бы сама забрала его из школы. Все кончилось тихо и без скандала, мать сделала за него вступительный взнос в «Общество выпускников». Перемена. Нет смысла торчать перед «Крогом», если Фаррант законным образом находится в помещении, Фарранту нужны деньги. На нем чужой галстук. С Фаррантом будет легко. Надо чем-то ярким украсить день, начавшийся таким добрым предзнаменованием, — письмом от своих. Завтра в честь святого

Зефирина Минти постарается воздержаться от злобных проделок; зато сегодня можно победокурить. Святой Людовик пальцем не пошевелил помочь Минти. Когда Минти дренировали, он с больничной койки всем своим существом взывал к святому Людовику, но тот не внял, а нелюбимый и забытый Зефирин откликнулся и помог.

Схожу к посланнику. Ах, Минти, подумал он, лукаво щуря глаз, какой ты озорник. Пора бы научиться уму-разуму, уже не мальчик. Неисправимый скандалист. И похвалив себя коротким смешком, он вышел в своем вымокшем черном

пальто на площадь Густава Адольфа; серый монарх смотрел в сторону России, дождь мочил эфес его палаша, под колоннами Оперы лепились друг к другу грибные шляпки зонтов. Площадь была пуста, только Минти и случайное такси. Минти, если на то пошло, никому не желал зла, хитрил с собою Минти, прикидывая, как пробиться к посланнику через бдительного Кэллоуэя и целый отряд молодых дипломатов с лужеными глотками. Кэллоуэй уже закрывал перед ним дверь, но Минти оказался проворнее. — Мне нужен капитан Галли, — сказал он. Отлично ориентируясь в миссии, он

прошмыгнул мимо Кэллоуэя,
скользнул вдоль коридора,
выложенного белыми панелями, и
вошел в кабинет военного атташе.
Военный атташе поднял на него глаза
и нахмурился.

— А, это вы, Минти, какая
нелегкая вас принесла? — Он
растерянно покрутил рыжеватые усы,
поправил монокль. На столе перед
ним лежала подшивка журналов.

— Я пришел к посланнику, —
объяснил Минти, — но он пока занят.
Решил забежать покалякать. Заняты?

— Очень, — ответил Галли.

— Кстати, вам, наверное, будет
интересно: в городе появился еще
один шотландец. Его фамилия

Фаррант. Говорит, что из Макдональдса. У Галли побагровела шея.

— Вы уверены? Фаррант. Не знаю таких. Будьте добры, передайте мне книгу кланов. Вон она, сбоку от вас. — Минти подал Галли маленький красный справочник кланов и тартанов.

— Мы, Камероны, — сказал Галли, — враждуем с Макдональдами. Сойтись с кем-нибудь из Макдональдса для Камерона такая же дикость, как, скажем, французу...

— Я имел удовольствие встретить на днях вашу матушку, — втайне ликуя, сообщил Минти, вышагивая взад и вперед по кабинету. У Галли

опять побагровела шея. —
Замечательное произношение.
Никогда не скажешь, что немка.
Кстати, Галли, из-за чего у
Камеронов вышел спор с
Макдональдами? — Гленко, — буркнул
Галли.

— Понимаю, — отозвался
Минти. — А что это вы читаете,
Галли? — Через его плечо Минти
бросил взгляд на подшивку
нудистского немецкого журнала. — Да
у вас тут прямо порнографическая
библиотечка. — Вам хорошо
известно, — сказал Галли, — что у
меня к этому художественный
интерес. Я пишу корабли, — он
повертел в пальцах монокль, — и

человеческое тело. Черта с два, Минти, никакого Фарранта здесь нет. Этот малый просто самозванец.

— Вероятно, я не правильно запомнил клан. Наверное, Мак и еще как-нибудь. Это все ваши корабли? — Минти обвел руками рисунки, двумя рядами опоясывающие белые стены кабинета. На ярко-голубой условной воде кокетливо выгибались кораблики, барки, бригантины, фрегаты, шхуны. — А где вы прячете человеческое тело?

— У себя дома, — ответил Галли. — Слушайте, Минти, вашего приятеля нет ни у Макферсонов, ни у Макфарланов, ни... он порядочный человек? — Не думаю, — ответил

Минти.

— Он многим рискует, выдавая себя за Макдональда.

— Скорее всего, это было Мак и что-то еще.

— Мы отловим его на шотландском обеде. Тогда я и разберусь в его тартане.

— Я пришел к посланнику насчет обеда выпускников Харроу, — сказал Минти. — Пожалуй, мне пора, а то он начнет беспокоиться. Не возражаете, если я воспользуюсь вашей дверью? — Минти оставил после себя лужицу воды на пол. — До свидания, Галли. Счастливого плаванья вашим корабликам. И плюньте вы на человеческое тело! — Он убрал

поддразнивающие нотки и выжал каплю яда, сдобренного искренностью, — все эти округлости, Галли, — такая гадость! — И не дав Галли воспрепятствовать, Минти вышел через служебную дверь.

Да, человеческое тело гадость. Мужское или женское — Минти все равно. Телесная оболочка, хлюпающий нос, экскременты, идиотские позы в минуту страсти — все эти образы встревоженной птицей бились в голове Минти. Ничто не могло взбесить его больше, чем сосредоточенное разглядывание Галли голых бедер и грудей. Перед его мысленным взором возникла глумящаяся толпа мальчишек,

орущих, портящих воздух, рвущих его открытки с Мадонной и младенцем.

Окружив себя безделушками, посланник занимался в дальнем углу комнаты, устланной пушистым ковром; Минти тихо притворил дверь. Его глаза были раскрыты чуть шире обычного. Он вобрал ими благообразную седину посланника, припудренные после бритья румяные щеки, дорогой серый костюм. Его самого немного испугал прилив разбуженной Галли ненависти. Пудриться, уделять столько внимания одежде, так старательно причесываться — Минти тошнило от такого ханжества. Плоть есть плоть, ее не спрячешь никакими уловками

Сэвил-роу. Страшно подумать, что сам Господь Бог стал человеком. В церкви Минти не мог избавиться от этой мысли, она вызывала в нем дурноту, была горше муки гефсиманской и крестного отчаяния. Можно вынести любую боль, но как ежедневно терпеть свою плоть? Минти стоял на краешке ковра, разводил под ногами сырость и думал: какая пошлость любить тело, как Галли, или, как посланник, скрывать его под пудрой и щегольскими костюмами. Он ненавидел лицемеров, он мрачно и озлобленно выставлял напоказ свой затрапезный вид и ждал, когда посланник поднимет глаза от своей

работы. Наконец ему надоело:

— Сэр Рональд. — Господи! — сказал посланник. — Дорогой, вы меня до смерти напугали. Как вы сюда попали?

— Я был у Галли, — сказал Минти, — он сказал, что как раз сейчас вы ничем не заняты, и я решил заскочить насчет обеда выпускников. — Странные заявления делает Галли.

— Вы, разумеется, возьметесь командовать парадом, сэр Рональд? — Постойте, мой дорогой, мы уже совсем недавно устраивали обед, а кроме того я ужасно занят.

— Прошло уже два года.

— Но вы не станете утверждать,

что обед удался, — заметил посланник. — Чуть не дошло до драки. Какой-то субъект стряхивал пепел мне в портвейн. — Надо ответить делом на недавнее обращение школы к своим выпускникам. — Мой дорогой Минти, я отлично понимаю вашу беззаветную преданность школе, но нужно знать меру, Минти. Здесь очень много военных. Почему они не изучают русский язык дома или хотя бы в Таллине — я не могу понять. — В Стокгольм приехал еще один наш однокашник. Во всяком случае, на нем наш галстук. Это брат любовницы Крога.

— Интересно, — проронил

посланник.

– Он работает в компании.

– Напомните ему отметить в книге.

– Мне кажется, он никогда не учился в Харроу.

– Вы только что сказали, что учился.

– Я сказал, что он носит наш галстук.

– Зачем такая подозрительность, Минти! Непорядочного человека не станут держать в «Кроге». Я готов доверить Крогу последний пенс.

– И не прогадаете, – сказал Минти. – Они платят десять процентов. – Признаться, я попался на удочку, – ответил посланник. Он

откинулся в кресле и самодовольно улыбнулся:

— Это окупит мой зимний отпуск. — Как насчет обеда? — настаивал Минти. Он повел дело всерьез; оставляя на ковре мокрые следы, подошел ближе к столу. — Это ведь нужно. Мы поддерживаем связь. Одни вечер в году не чувствуем себя иностранцами. — Да бросьте, Минти, тут все же не Сахара. Мы в тридцати шести часах пути от Пикадилли. К чему эта тоска по родине? Отправляйтесь в субботу и к понедельнику возвращайтесь. Берите пример с Галли. Он постоянно ездит домой. Лично я предпочитаю выждать и под рождество закатиться

на целый месяц. Для Англии это лучшее время. Сейчас подумываю махнуть на несколько деньков поохотиться. Так что не преувеличивайте, мы тут не в ссылке. Что и говорить, он не в ссылке — в этой-то комнате с белыми панелями, и вазой осенних роз на столе; в его благополучии Минти видел умышленное оскорбление для себя. Даже не предложил мне сесть, боится за свои гобеленовые кресла — пальто у меня, видите ли, мокрое. — Обед — это нужное дело, — повторил Минти, чтобы протянуть время, вспомнить случай, шутку, сплетню и поубавить посланнику счастья.

— Я видел рецензию на вашу

книгу в «Манчестер Гардиан», — сказал он.

— Да что вы! — клюнул тот. — Серьезно? И что там? Я не читаю рецензий. — А я не интересуюсь стихами, — ответил Минти. — Я прочел только заголовок: «Покушение на Даусона». Так вы купили новые акции Крога? — спросил он без перехода. — Будьте осторожны. Ходят слухи. — Что такое? Какие слухи?

— Минти обязан кое-что знать. Говорят, на заводе чуть не произошла стачка.

— Чепуха, — возразил посланник. — Крог был у меня вчера и сам посоветовал покупать.

– Хорошо, а куда он отправился потом? Вот что всех занимает сейчас. Ему сюда звонили?

– Два раза.

– Я так и думал, – сказал Минти.

– Я приобрел много акций последнего выпуска, – сказал посланник. – Дело хозяйское, – сказал Минти. – В конце концов, никто ничего не знает. Может, они немного понизят цены, хотя это уже будет игра с огнем. Впрочем, вы поэт, вам не понять эту премудрость. – Минти тихо рассмеялся.

– Что вас рассмешило?

– «Покушение на Даусона», – объяснил Минти. – Сильно сказано, а? Имейте меня в виду, если что надо

узнать. Откуда дипломату ведать, что происходит на улице? Имейте в виду Минти. — И оставляя на ковре мокрые следы, он направился к двери. — Я всегда помогу однокашнику. В длинном белом коридоре он задержался перед портретами предшественников сэра Рональда; стараниями местных художников дипломаты обзавелись брыжами, алонжевыми париками, приняли варварские черты: у них были очень скандинавские раскосые глаза, на груди, скрывая кирасы, лежали меха. За спиной придворного эпохи Стюартов маячила пара оленей, вздымались горы, сверкали льды. Зато поздние портреты были

совершенно лишены национального колорита. Эти затянутые в официальные мундиры и бриджи господа, в лентах и орденах, представляли интернациональное искусство в духе Сарджента и Де Ласло. Минти знал, что эти портреты чрезвычайно нравятся сэру Рональду, который скоро составит им компанию на стене, и привычное раздражение сменилось у Минти симпатией к обремененным париками вельможам: для них здешняя жизнь тоже была своего рода ссылкой, хотя и не бессрочной, как у Минти; эти «любопытные», по отзыву сэра Рональда, портреты были дороги сердцу Минти. Оставляя на

серебристо-сером ковре мокрые следы, он неслышно подошел к двери и вышел на улицу. Дождь перестал, восточный ветер собирал над озером Меларен серые стада облаков, солнце вспыхивало и гасло на мокром камне дворца, оперы, риксдага. Под Северным мостом моторки рассыпали брызги, ветер подхватывал их и мелким дождем швырял в стеклянные ставни заброшенного ресторанчика. С влажно блестящего пьедестала на Гранд-Отель взирал поверх беспокойных волн обнаженный мужчина, показывая зад прохожим на мосту. Минти зашел в телефонную будку и набрал номер «Крога». Он спросил вахтера:

— Герр Крог еще у себя? Это Минти.

— Да, герр Минти. Он еще не выходил.

— Он идет вечером в оперу?

— Он еще не распорядился насчет автомобиля.

— Если можно, попросите к телефону герра Фарранта. Ждать пришлось порядочно, но Минти был из терпеливых. На пыльном стекле будки он чертил пальцем фигурки, крестики, нарисовал голову в берете. — Алло! Фаррант? Это Минти.

— Я только что вернулся, покупал барахло, — сообщил Энтони. — Ботинки, носки, галстуки.

Мы сегодня идем в оперу.

– Вы и Крог?

– Я и Крог.

– Вас уже водой не разлить.

Слушайте, вы не могли бы что-нибудь узнать для меня про эту забастовку?

– Он не страдает излишней разговорчивостью.

– Я хорошо заплачу за материал.

– Хотите пополам?

Минти большим пальцем расчистил от пыли овал лица, берет, нарисовал еще один крестик, терновый венец, нимб.

– Слушайте, Фаррант. Я с этого живу, это мой кусок хлеба с маслом и, если хотите, Фаррант, даже

сигареты. У вас хорошая работа, вам нет нужды тянуть с меня половину. Я дам вам треть. Ей-богу, не вру. — Он почти машинально скрестил пальцы, снимая с себя ответственность за обман. — Соглашайтесь на треть, а? — Он приготовился долго уламывать, в его голосе появились попрошайнические интонации ребенка, когда тот кланится у старших булочку или плитку шоколада. — Нет, правда, Фаррант... — Но Энтони буквально сразил его на месте, приняв его условия. — Ладно-ладно, Минти, я возьму даже четверть, раз такое дело. До свидания. Увидимся. Не вешая трубки, Минти застыл, раздираемый сомнениями: что это

значит? Уж не ведет ли он двойную игру? Вдруг к нему пристроился кто-то еще? Они на все способны, эти оборванцы, что вроде него маялись у ворот «Крога», подкупали вахтера, торчали около ресторанов, где обедал Круг, и глубокой ночью голодные брели на дальние набережные в свои каморки на пятом этаже. Не перехватил ли его Пилстрем? Или Бейер? Может, его уже купил Хаммарстен? Он представил себе, как Пилстрем в забрызганном грязью костюме безуспешно старается обмануть автомат иностранными монетками; как Бейер подсовывает соседу бумажные блюдечки из-под своего пива; как Хаммарстен... Им

нельзя доверять, подумал он, нельзя. Он повесил трубку, ладонью смазал кресты и нимбы и вышел в серый осенний день.

Пора бы и перекусить, Минти? Итоги первого финансового дня: письмо от родных; новый поручитель в сопроводиловке стряпчего; кукиш редактору, пилюля Галли, шпилька посланнику; вроде бы можно и кутнуть – итак, завтрак. Но сначала дело, Минти; дело – прежде всего. Он позвонил в газету и велел прислать фотографа к опере.

Ну, завтракать.

И опять выходила задержка: церковь звала его. Полумрак, огонь лампы манили его сильнее голода.

Разумеется, это всего-навсего лютеранская церковь, но и в ней держится истый дух гипсовых скульптур, негасимого света, прощенных грехов. Минти огляделся по сторонам, опустил голову и, словно тайный развратник, с пересохшим от возбуждения ртом воровато юркнул в распахнутые двери.

Пока в зале не погасли огни, Энтони чувствовал, что его

разглядывают, но сейчас это его не беспокоило. Он знал, что вечерний костюм ему идет, даже если он куплен готовым. Два кресла по левую руку от него пустовали, и справа от Крога два кресла тоже были не заняты. Их места в четвертом ряду были надежно изолированы от окружающих — два кресла у них за спиной тоже были свободны. Энтони принялся подсчитывать, во что обходится Крогу поход в театр.

— Вы часто бываете здесь, мистер Круг? — спросил он, обводя взглядом сверкающие ложи с пышными гроздьями шляп, проникаясь достопримечательным духом старины: обнаженные плечи,

бриллианты, седовласые головы; какая-то женщина разглядывала их в лорнет. Создавалось впечатление, что они участвуют в традиционной, неизменной от века церемонии. — Я посещаю все премьеры, — ответил Крөг.

— Вы заправский меломан, — сказал Энтони.

Королевская ложа была обитаема; самого короля не было (он играл в теннис за границей), зато присутствовал с супругой наследный принц, терпеливо выставлявший себя на обозрение стокгольмской публики; показываться народу было его обязанностью до тех пор, пока не погасят свет. Интерес публики

разрывался между его ложей и партером, где сидел Круг, между властью и деньгами; Энтони вынес убеждение, что деньги победили.

— Вы знакомы? — спросил он. — Вы знаете наследника? — Нет, — ответил Круг. — Я только однажды был во дворце. На приеме. Я знаю его брата.

В продолжение их беседы за ними не отрываясь наблюдали величественного вида дамы; колыхались пышные шляпы, сверкали стекла театральных биноклей; седой высохший человечек с яркой лентой через крахмальную грудь, улыбнувшись, поклонился, ловя взгляд Круга. Взглянув на

королевскую ложу, Энтони убедился, что их разглядывает даже принц. Забавно: Круг, вероятно, был единственным незнакомцем, которого принц знал заочно. К ним было обращено умное, с правильными чертами лицо, сохранявшее выражение терпеливого интереса.

У обоих был утомленный вид, только усталость Круга производила впечатление физического переутомления. Смокинг поджимал ему в плечах, что-то пошлое было в бриллиантовых запонках, казавшихся одолженными; словно он натянул на себя чужой костюм и с ним чужую пошлость. — Слушайте, Фаррат, —

сказал он, — если я вздремну, вы должны разбудить меня перед антрактом. Нельзя, чтобы меня видели спящим. — И добавил:

— Вторник у меня всегда очень трудный день.

Погасли лампочки в огромной центральной люстре; темнота поглотила ярус, спустилась в партер. Вторник. Скрипки, примериваясь, стали искать что-то, не нашли, заметались и потерянно сникли. Вторник. Какая-то женщина чихнула. Светлячком упала дирижерская палочка. Во вторник вечером. Я ей обещал, вспомнил Энтони, выходит, подвел, и скрипки, откликнувшись, подхватили раскаяние, воздавая за

утраты, причиняемую боль и забывчивость. Она такая дурочка — наверное, прождала весь день. Трепещут, рыдают звуки, над серым полем вскрикивает птица, глоток отравленного питья, неисцелимая любовь, смерть, которой все кончается, опять кто-то чихнул; как я ее подвел, каменные ступени, «сегодня молока нет». Глупая девочка. Дэвидж. Черные паруса смерти. Поднялся занавес; длиннополые ядовито-зеленые и фиолетовые балахоны мели пыль по сцене; встряхивая песочными косицами, пела почтенных лет дама; свет рамп, сверкая, отражался в жестяных нагрудниках; глоток вина

сделан, корабль отплыл. Господи, какая ерунда. Вторник. В антракте позвоню. Чувствуешь себя виноватым (плывет вероломный друг прямо к королю Марку) – такие они все безответные и, главное, влюбляются сразу по уши. Тоже своего рода наивность. Ей надо научиться следить за собой: та губная помада совершенно не смотрелась с кремом для загара; и шнапс она пила в Гетеборге с таким видом, словно крепче хереса ничего не пробовала в жизни. Подкрашенная вода в чаше, актриса с пустым бокалом, дурманящий напиток, сопрановое колдовство, эта чепуха с неисцелимой любовью. А тут даже и

не любовь; но когда в тебя так вот сразу влюбляются, хочется — как бы это сказать? — отнестись к ним бережно, лучше, чем относились к тебе самому (пронзительно горькое воспоминание об исчезнувшей Аннет вытеснило музыку — настоящее страдание узнаешь не на слух, а глазами, у той испещренной надписями стены, на тех скользких от мыла ступеньках). Не будь она такой глупышкой, не попадись так просто на все мои идиотские басни, я бы не стал и расстраиваться. Он взглянул на Крога. — Мистер Круг. — Он потряс его за локоть, и Круг проснулся.

— Очень громко стали играть, —

прошептал он. — По-моему, скоро конец. И точно: могучие порывы музыки волновали фиолетовый бархат одежд; не прерывая пения, к рампе потянулись отважные викинги; предательство; из тяжело вздымавшейся груди вырывалось рыдающее сопрано; мой друг; занавес падает.

— Вы не возражаете, если я сбегаю позвонить? — спросил Энтони. — Нет, — заволновался Круг, — ни в коем случае. Ко мне подойдут с разговорами. Спросят мнение о постановке.

— Скажите, что вы устали и плохо слушали.

— Все не так просто, — сказал

Крог. – Это же Искусство. Великое Искусство. – Он понизил голос. – Я что-то читал об этой опере. Это одна из великих любовных историй.

– Нет, – возразил Энтони. – Вы ошибаетесь. Вы спутали ее с «Кармен».

– Правда?

– Безусловно. Я-то не спал и все видел. Кроме того, я знаю эту легенду. Там рассказывается об одном человеке, который послал своего друга привезти ему жену. Потом происходит путаница с напитком, который будто бы внушает людям страсть, этот друг с девушкой выпивают его и они влюбляются друг в друга. Но она все равно должна

ехать и выйти замуж за первого. Не знаю, что здесь великого, в этой истории. Все слишком фантастично. Зачем эта чепуха с напитком? Чтобы влюбиться, совсем не обязательно что-то пить. — Может, вы правы, — сказал Круг.

— Так я схожу позвонить?

С внезапной подозрительностью Круг спросил:

— А это не пресса? Я вас и дня не буду держать, если вы свяжетесь с прессой. — Нет-нет, мистер Круг, — успокоил его Энтони, — это одна девушка. — Стал объяснять:

— Мы договорились на сегодня, а я забыл. — Вы договорились побыть сегодня вместе? — уточнил Круг. — Ну

да. Пошли бы в кино или в парк. Тут есть местечко, где можно с толком посидеть?

— И вам не будет скучно? — допытывался Круг. Повернувшись в кресле, он понизил голос и продолжал уяснять. — Вы придете в парк и будете... как у вас говорят?

— Будем тискаться.

— Мы тоже так говорили! Помню, мои друзья... давно, в Чикаго... — В его голосе прозвучало радостное удивление:

— Мерфи. О'Коннор. Вильямсон. Как странно. Мне казалось, я напрочь забыл их имена. Мы там работали на мосту. Это еще до того, как я изобрел резак... По-моему,

Холла там не было. Вот еще:
Эронстайн...

– Скажите, мистер Круг, вам здесь нравится? – спросил Энтони. Публика терпеливо выждала, когда принц кончит аплодировать, затем потекла к роскошной лестнице, в фойе, сверкая драгоценностями и орденами, словно лампочками светофоров.

– Конечно, нравится, – ответил Круг.

– Но это же скучно. Знаете, что вам нужно после трудного дня? Немного песен и танцев. Что-нибудь легкое. Неужели здесь нет никаких кабаре? – Не знаю, – ответил Круг и не спеша продолжал:

– Я всегда доверял вашей сестре. Без нее ничего не делал. Вам можно сказать, вы ее брат. – Казалось, он готовится сделать крайне важное признание. – Да, мне это тоже кажется скучным. И та статуя. Но Кейт она нравится. – Мистер Крог, – сказал Энтони, – пойдемте сейчас со мной. Где-нибудь выпьем, послушаем музыку, а потом я провожу вас спать. – И добавил:

– Из ресторана и позвоню.

– Невозможно, – ответил Крог. – Это будет замечено.

– Никто не заметит. Все выходят в фойе.

– После антракта они увидят наши пустые кресла. Подумают, что я

заболел. Вы не можете себе представить, какие поползут слухи. А у нас на днях новая эмиссия. На улице наверняка торчат репортеры. — Тогда — пусть я заболел. Вы провожаете меня домой. Меня же никто не знает. Подумают, что я ваш друг.

Крог сказал:

— Мне очень жаль, Фаррант, но их вы не проведете. Еще два часа осталось сидеть. А вы — что, немножко актер? — Немножко? — переспросил Энтони. — Жаль, вы не видели меня в «Личном секретаре». Вся школа смеялась, даже учителя. Директорша (мы ее звали негритоской) подарила мне коробку

шоколада. Конечно, я не тот, что прежде, но разыграть комедию смогу.

Но Круг сказал – нет, ничего не выйдет. Все это очень заманчиво, но Фаррант не знает, как пристально следит за каждым его шагом пресса. В особенности один плюгавый оборванец. – Меня не оставляют в покое уже много лет. Что называется: оказывают честь. Без этой опеки я, честно говоря, почувствую себя беспокойно. Идите. Позвоните и возвращайтесь. – Он впервые за весь вечер раскрыл программу и внимательно, страницу за страницей стал ее читать, начав с большой рекламы «Круга» и добравшись до списка действующих лиц.

В фойе публика оставила свободное пространство для принца, который прогуливался в сопровождении супруги, пожилого господина с колючими седыми усиками и молодящейся длинноволосой дамы с прыщеватым лицом, не тронутым пудрой; группа ходила взад и вперед, взад и вперед, как звери в клетке. Вслед удаляющимся спинам вскипала волна шепота, сменяясь деланно безразличным разговором, когда те четверо возвращались. На блокноте в телефонной будке кто-то нарисовал сердце, нескладное кривобокое сердце. Телефонист долго не понимал Энтони; пришлось

несколько раз повторить: «Отель Йорк». В сердце был записан номер телефона, художник начал было рисовать стрелу, но бросил. В фойе взад и вперед расхаживал принц, дамы жадно разглядывали платье принцессы, мужчины перешептывались. Что-то безыскусное и трогательное было в нарисованном сердце, но потом, ожидая с трубкой в руке, Энтони заметил в уголке страницы французский стишок, какие обычно завертывают в рождественские хлопушки, и все сразу предстало умной стилизацией, утонченной шуткой. — Мисс Дэвидж у себя? — Швейцар в «Йорке» понимал по-

английски. – Трудно сказать. Пойду посмотрю. Как, вы сказали, ее зовут? – и Энтони расслышал затихающие шаги. Он взглянул на часы – четверть десятого. Кстати: как ее зовут? Она говорила, только он забыл. Выяснилось, что он даже не может толком вспомнить, какая она: в памяти застряли лишь подмеченные недостатки – не та помада, не та пудра. То, что она никакая, больно кольнуло его. Появилось чувство ответственности, словно ему доверили щенка, а он потерял его. «Только кликните – сразу прибежит...» Хорошо, а если забыл кличку?

– Это Энтони говорит, – сказал

он. Он узнал голос, узнал это беззащитное простодушие, когда через озеро, мост и набережную, чудом не потерявшись в проводах, донесся короткий и слабый выдох безотчетной радости, надежды, освобождения.

Он спросил:

— Кто говорит?

— Лючия. — Как же он забыл это до глупости претенциозное имя! Она еще говорила, что ее брата зовут Родерик. Отцовские причуды. Тот обожал забытых классиков, что давным-давно собирают пыль на полках публичных библиотек. В Гетеборге он не выпускал из рук любимую книгу, с которой вообще

почти никогда не расставался, — «Испанские баллады» Локкарта;

Родерик пришел из этой книги. Откуда явилась Лючия, она уже не помнила. За обедом мистер Дэвидж пообещал Энтони дать почитать Локкарта. — Скоттовского Локкарта, — уточнил он. Выяснилось, что он очень любит поэзию. Понизив голос, мистер Дэвидж восторженно отозвался о Хорне и Александре Смите. — Я люблю что-нибудь основательное, — говорил он, — не лирику, эпос. — Страдая от его навязчивой разговорчивости, дочь ядовито ввернула, что его круг чтения исчерпывается букинистической макулатурой. —

Взгляните. Убедитесь сами, – и она презрительно ткнула пальцем в Локкарта, лежавшего рядом с селедкой: на корешке черного истрепавшегося переплета различался старый библиотечный штамп.

– Лючия, – повторил Энтони. – Теперь слышу. Я бы узнал ваш голос из тысячи. Я боялся – вдруг подойдет кто-нибудь из стариков. Не хочется, чтобы у вашей матушки случился разрыв сердца. – Наверное, – сказал упавший голос, – вы забыли. – Ни в коем случае, – возразил Энтони. – Видите ли, я получил довольно важную работу в «Кроге». Только сейчас выдалась минута позвонить.

Сбился с ног. Вы бы знали, чем я занимаюсь! Слушайте, вам нравятся тигры? – Тигры?

– Игрушечные. Я сегодня купил одного для вас. Видите, я ничего не забыл. Можно я его принесу в отель?

– А когда?

– Я бы смог подойти часам к двенадцати.

– Ах, Энтони, если бы пораньше. Сейчас уже ничего не получится. Я скоро ложусь спать.

– Еще нет десяти.

– Дома мы всегда ложимся в десять.

– Если мне повезет вырваться, то завтра вечером... – Господи, вот бедняга-то, подумал он, в десять уже

ложится; вот скука-то. Надо ее развлечь. Сделать доброе дело. Со щемлящим чувством благодарности он думал: в ее глазах я шикарный парень. Верит буквально каждому слову. Дурочка, но очень славная девчушка.

— Опять не получится: мама достала куда-то билеты.

— Тогда послезавтра вечером...

— Один папин друг... Энтони, ничего не выходит. А на той неделе мы уезжаем.

— Давайте пообедаем вместе.

Звучавший безнадежностью голосок начал раздражать его. — Ничего не получается, Энтони. Вы бы видели папин распорядок!

Ратуша, музеи, у нас все обеды расписаны. Мы же знакомимся с городом. На полную катушку.

— Ладно, — сдался Энтони, — остается завтрак. — Беззаботно предложил:

— Закатимся куда-нибудь на автомобиле. Когда вы можете? — Может завтра? — Она возбужденно зашептала в трубку:

— Мама идет. Я не хочу, чтобы она знала. Еще увяжется. Придете завтра в восемь на Северный мост?

— Хорошо, — ответил Энтони, вешая трубку. Все же это чертовски рано — в восемь. Это значит встать придется в половине восьмого, в такую рань здесь страшно холодно;

ему представилось безрадостное зрелище его комнаты: торчащая в стакане зубная щетка, говорливый клубок водопроводных труб, окно, выходящее в переулок с мусорными ящиками, кран горячей воды, откуда идет холодная, картинки, приклеенные мылом, — он забыл купить кнопки. Ладно, сделаем доброе дело. В дверь будки постучали. Когда-нибудь это все сорвется. Они меня доконают. Но кто эти «они», он не знал. Повернувшись, он увидел, что у будки стоит Круг, и в ту же минуту его лицо залила улыбка, он весь осветился радушием, он опять был славным парнем. — Я очень

задержался?

– Я подумал, – сказал Круг, – и ушел. – Словно с трудом веря, что все обстоит так просто, он удивленно продолжал:

– Все вернулись в зал, а мы остались. – Окинул взглядом широкую опустевшую лестницу. – Куда теперь? – Прекрасно, – откликнулся Энтони. – Сначала выберемся на улицу. С пальто и машиной канителиться не будем.

Круг улыбнулся:

– Как просто, – сказал он. – Мне это в голову не приходило. – Они спускались по пустой лестнице. Слабее, чем в телефонной трубке, доносился чей-то поющий голос. –

Для меня это целое приключение, Фаррант. Я уже давно не переживал таких приключений. — Однако я ваш телохранитель, — вспомнил Энтони, — я за вас отвечаю, а со мной нет револьвера.

— Это были нервы. Никакого телохранителя мне не нужно.

— А нужно просто выпить.

— Вот именно. — Он взял Энтони под руку, и мимо изумленных швейцаров они вышли на площадь. Пробежал человек с какой-то рамой на палке, сверкнула вспышка света, и на мгновение все разлетелось на куски в этой ослепительной яркости, перед глазами качнулся, отступая, черно-белый мир. — Такси. Скорее.

Берите такси, – приказал Крог. Уже подходили двое мужчин, что-то говоря по-шведски, но подкатило такси и Крог заспешил к задней дверце. На площади с невероятной быстротой стала расти толпа. Из машины Энтони видел, как через мост спешат еще шесть-семь человек. Какая-то женщина под памятником Густаву выкрикнула:

– Герру Крогу – ура! – и слабый хор неуверенных восклицаний проводил отъехавший автомобиль. – Дураки, – пробурчал Крог. Он глубоко, чтобы не видели, откинулся на подушки; мимо проплыли огни Гранд-Отеля. В стекла хлестнула и откатилась волна танцевальной

музыки.

— Может, зайдем сюда? — предложил Энтони.

— Нет-нет, — поспешно возразил Круг. — Поищем что-нибудь потише. Поедем в Хассельбакен, это около Тиволи. Я не был там двадцать лет. — А в Тиволи есть что посмотреть?

— Я там не был.

— Надо как-нибудь съездить вечером.

Машина забиралась все выше над озером, оставив позади залитую лунным светом каменную массу Северного Музея. Из Тиволи струилась музыка и увязала в холодном воздухе: так глыба льда бережет от разложения два тела —

застывший жар, ледяная отрешенность.

– Что я буду делать в Тиволи? – недоумевал Круг. – Вы отчаянный человек, Фаррант. С вами беспокойно. Взять и уехать из оперы! Завтра это будет во всех газетах. Вы слышали, они мне что-то сказали? Им хотелось знать, что случилось: не понравилась постановка, плохое самочувствие или дурные новости?

– За нами кто-то едет, – сказал Энтони, выглянув в заднее стекло: пышный желтый пушок света сновал на дороге возле Скансена. – Они наверняка накроют нас в ресторане. Скажите шоферу, чтобы ехал в Тиволи. Другого выхода нет. В толпе

они нас не найдут. — Он сам постучал в стекло кабины;

— Тиволи, — сказал он. — Тиволи.

— Нет, — запротестовал Круг. — Этого делать нельзя. Что скажут газеты? Променять оперу на Тиволи! Меня сочтут сумасшедшим. Вы представляете, что будет на бирже?

— Не думайте об этом, — сказал Энтони.

— Не думать о бирже, — изумился Круг. У него вырвался испуганный виноватый смешок. — Отчаянный человек, — повторил он. — Этот шрам — вы тоже тогда ни о чем не думали?

— Шрам? — подхватил Энтони. — Это долгая история. Вы помните, как несколько лет назад в Индийском

океане затонул «Нептун»? Впрочем, у вас, наверное, об этом не писали. На корабле возникла паника, пассажиры сломя голову рвались к шлюпкам, а я помогал старшему офицеру поддерживать порядок — ну, кто-то мне и удружил.

Крог рассмеялся. Энтони растерянно и недоверчиво спросил:

— Вы не верите?

— Ни единому слову, — ответил Крог. Такси остановилось, но Энтони, изумлено расширив глаза, даже не шелохнулся.

— Почему же вы не поверили? Где я ошибся? — Он стал вполголоса разбирать весь рассказ:

— «Нептун»... паника... все

рвутся к шлюпкам... – Выходите, –
скомандовал Круг. – То второе такси
подъезжает. – Пройдя через турникет,
он рукой задержал Энтони. – Я хочу
посмотреть, кто это. Машина
вплотную подъехала к первому такси.
Наружу выбрался человек в сером
летнем костюме; расплачиваясь, он
неторопливо и цепко осмотрелся;
худое лицо, мешки под глазами и
подбородком. – Это Пилстрем. –
Такси не отъезжало. Ища ступеньку,
высунулись ноги в узких черных
брюках и повисли над землей,
длинные, тонкие и бескостные, как
макароны. – Их двое! – воскликнул
Круг. – Мне всегда казалось, что
Пилстрем охотится в одиночку.

Погодите, да это же... как, однако, мы заинтриговали их... — Длинный фрак, тонкий, как шнурок, галстук завязан бантиком на старческой шее, седая щетина, длинное постное лицо. —...Это же профессор Хаммарстен, — черная мягкая шляпа, очки в стальной оправе, пепельно-серые щеки. — Быстро! — заторопился Круг. — Пока нас не увидели. — Он шел впереди; ловя вокруг удивленные взгляды, он вспомнил, что он в вечернем костюме и без шляпы, но странное безразличие охватило его; он вспомнил Холла с накладным носом, шумную толкучку фиесты, тревожные расспросы Холла:

— А с трением-то как? — И

остановившись позади тира перевести дух, он сказал:

– Бедняга Холл, как бы он на все это посмотрел? – Верный Холл. На него можно рассчитывать во всем, кроме соучастия в этой стремительной потере тормозов, в этом безумстве. Такое можно себе позволить только с человеком, который даже не умеет убедительно соврать. Еще не отдышавшись, ой тихо сказал:

– Это было не в Индийском океане.

– Черт возьми, – пробормотал Энтони. Щурясь от света прожекторов, он неловко улыбнулся:

– Я впервые испробовал эту

историю. Обычно я даю рассказ о бомбе. Ладно, — решился он, — вам скажу. Кроме Кейт, никто не знает. Я снимал шкурку с кролика и у меня сорвался ножик. — Пилстрем, — сказал Круг. Со стороны центральной аллеи из-за угла осторожно вышел человек в сером костюме, ступая мягко, как кошка вокруг мусорного ящика. Круг усталым голосом сказал:

— Игра кончилась. — И словно обманывая кого-то близкого, сплавив ему акции, которые ладно бы обесценились в будущем, но уже сейчас ничего не стоят, хоть выбрось, мучаясь угрызениями совести, Круг добавил:

– Мы свалили дурака. – Сейчас разберемся, – сказал Энтони.

Он подошел к Пилстрему, взял его за локоть, развернул и толкнул за угол палатки. Пилстрем несколько раз пронзительно крикнул:

– Хаммарстен! Хаммарстен! – Профессор Хаммарстен замешкался возле медных ручек призового аттракциона. – Хаммарстен! – Кажется, спорили из-за монеты, которую пытался всучить Хаммарстен. – Хаммарстен! – Тот быстро обернулся и уронил очки. – Пилстрем! – Он трепетной ногой ощупывал гравий, обводя очки подобием круга. – Пилстрем! – жалобно отозвался он. Энтони с

новой силой потащил Пилстрема. — Хаммарстен! — Профессор Хаммарстен нагнулся за очками, но сейчас же дернулся вперед, с болезненным воплем схватившись за поясницу. — Пилстрем! — Держа в пальцах монету, владелец павильона взывал к свидетелям. Энтони ослабил хватку и толкнул Пилстрема прямо профессору в руки. — Хаммарстен! — Они немного постояли, держась друг за друга, потом Пилстрем нагнулся и подобрал очки Хаммарстена. Энтони и Круг издали наблюдали за ними. Вскоре парочка рассталась, каждый отправился в свою сторону. Шли они медленно, понуро.

– Вам что, приходилось быть вышибалой? – спросил Крог. Энтони вздохнул:

– Нет. У меня пропало настроение рассказывать истории. Особенно после той осечки. Но я готов поклясться, что это было в Индийском океане. – Верно, верно, – успокоил Крог.

– Господи, – воскликнул Энтони, – выходит, я ничего не перепутал! Знаете что, не садитесь против меня в покер, с вами можно играть только в рамми – там уж как повезет, без блефа. А у вас лицо прямо для покера. – Но хоть стрелять-то вы умеете?

– Стрелять? – оживился Энтони.

Он взял Крога под руку и увлек за собой.

Через две аллеи им попался тир, но Энтони его отверг («это для детей»). Наконец нашел то, что нужно. Разыгрывалось ограниченное число призов. – Хотите портсигар? – спросил Энтони.

– У меня уже есть. – Круг вынул из кармана деревянный инкрустированный портсигар. Рисунок для него выполнил все тот же скульптор, что изваял статую и отлил пепельницы; на портсигаре стояла монограмма: «ЭК». Круг гордился портсигаром. Он сказал:

– Другого такого нет во всем мире. – Портсигар лежал на ладони,

легкий, как пудреница. – Очень красивый, – похвалил Энтони, – но вам нужно еще нечто официальное, из свиной кожи. Вот тот хотя бы – он будет очень хорош с золотой монограммой. Сейчас я вам его добуду. Сказано – сделано.

– Теперь не грех, и выпить.

Он не знал ни слова по-шведски, но это ему уже не мешало. Им принесли пиво. – Вода, – отозвался Энтони. – Приезжайте в Англию, я вас кое-чем угощу. Что бы я сейчас взял? «Янгер»? Пожалуй. Или пару кружек «Стоун-особый». Больше пары и не надо.

Он заворожил Крога своей непринужденностью,

искушенностью в вещах, о которых Круг имел весьма смутное представление. Наверное, пожилая дама, воспитанная по старинке, будет такими же глазами смотреть на юную девушку, которая разбирается в косметике, знает, что нужно для коктейля, подскажет врача, если нежелательно сохранить известное положение. Круг немного завидовал ему, отчасти любовался им, все это даже интересно, но гораздо сильнее его занимала мысль о времени, которое так быстро у него пролетело, а у этого тянулось помаленьку, так что совсем молодым он знал очень многое.

— Не желаете размяться?

– Не понимаю.

– Потанцевать.

Мелодии, лившиеся из репродуктора, были, надо думать, самые модные; обступив площадку, дуговые лампы заливали светом деревянный настил; белые пятна лиц выдавали напряжение, с которым танцующие ловили трудный ритм; девушки медленно переступали изящными ножками и благоговейно, как некий ритуал, повторяли движения партнеров – шаг в сторону, шаг вперед, шаг назад, между тем как из головы не шли мастерская, контора, платье не по карману («в тиши моей одинокой комнаты»), пролетевшее лето («днем и ночью»),

зимние моды.

— Нет. Я не буду. А вы танцуйте. Я посмотрю. Напрасно подстегивать себя: я — Круг, вспоминать выложенные лампочками инициалы, заводы, работающие в две смены, с семи утра и с трех часов ночи: он робел пригласить какую-нибудь из этих девушек, и ничего с этим не поделаешь. Он видел, как поодаль, присматривая девушку, расхаживает Энтони; человек ни слова не знает по-шведски и все-таки здесь он не больше иностранец, чем швед Круг, который родился в развалюхе на Веттерне, в деревенской школе учил арифметику. Энтони взял девушку за руку и повел к танцующим; просто я

все перезабыл, думал Круг. Ведь в молодости... Но себя не обманешь; воздух Тиволи вызывал на откровенность; сюда не приходят с неясными побуждениями, здесь удовольствие — единственная и неприкрытая приманка, и ни к чему лицемерить. И в молодости, подумал он, я был точно таким же. В Стокгольме ходили легенды о его детстве, уже обещающем коммерсанта и изобретателя: как он построил перископ, чтобы не пропустить, когда из-за угла школы появляется учитель; как менял почтовые марки на фрукты, сохранял их в соломе и в разгар лета прибыльно устраивал обратный

обмен с изнемогавшими от жажды однокашниками. Круг знал все эти легенды, знал, что в них нет ни капли правды, но еще знал, какая она скучная, эта правда: каторжный труд, прилежанием добытые свидетельства — он, в сущности говоря, и не видел жизни, пока однажды весною в Чикаго ему не пришла в голову идея нового резака. Он даже запомнил, в каком положении была перечеркнувшая небо стрелка огромного экскаватора, он как раз стоял у окошка в будке мастера, высунулся и крикнул экскаваторщику:

— Еще пять футов влево! —
Кончилась долгая и суровая

североамериканская зима, сквозь запахи жидкого битума, дыма и вымоченного дождем металла он улавливал дыхание весны; шоссе трескались, уступая подспудному натиску травы. Впрочем, природа его не волновала, и этот весенний день в его глазах ничем не отличался от других, а запомнил он его единственно потому, что, переведя взгляд с раскачивающейся, падающей, кромсающей бледно-голубой воздух стрелы экскаватора на план моста, приколотый к чертежной доске, он подумал: если я поставлю нож вот так, желоб у меня скользящий, тормоз отпускает палец — неужели и в этом случае будет

большое трение? Его никогда не занимали мелочи, все эти до глупости дешевые и необходимые вещи, которые впоследствии станут называться «Крогом». Однажды, еще мальчиком, он услышал от отца, что у такого-то, наверное, уже миллионный капитал; и вот, он неделю проработал в мастерских в Нючепинге, увидел в действии резак старой модели — и взял расчет: в такой допотопной фирме даже самое похвальное усердие не обещало успеха. А тут нежданно-негаданно, без всяких усилий родилась идея нового резака, и в памяти на всю жизнь остался весенний день, запах зелени и битума, ныряющая вниз и

отмахивающаяся в сторону стрела экскаватора.

Чем— то напоминало то время и новое чувство раскованности, которые он испытывал в обществе Энтони. Недаром он вспомнил эти имена: Мерфи, О'Коннор, Уильямсон и Эронстайн (О'Коннор погиб в Панаме; сломался экскаватор, и на беднягу обрушились сорок тонн земли; Эронстайн ушел на нефтяные промыслы; Уильямсон и Мерфи, кажется, умерли во Франции). И хотя они проработали вместе восемнадцать месяцев, он не узнал их близко, но он и не стеснялся их, а вот с Андерссоном он чувствовал себя неловко, и этих загорелых

продавщиц, чинно танцующих там, - их он тоже стеснялся. Ему захотелось неспешно наведаться в прошлое, поворошить годы с их яростными свершениями — так, взяв в руки забытый календарь, обрываешь листки, рассеянно просматривая эпитафии, стихи, пошлые изречения древних риториков и нет-нет, да задумаешься над какой-нибудь уберегшейся живой строкой. 1912 — он вступил в товарищество; 1915 — откупил долю своего компаньона; 1920 — начал борьбу за мировой рынок; 1927 — великий год: он скупил германские капиталовложения, предоставил заем французскому правительству, закрепился в

Италии... И как скверно все кончается: краткосрочные займы, угроза забастовки, идиотский голос Лаурина по телефону, заклинающий быть осторожным.

Зачем я здесь? — подумал он. Какая глупость. Под ногами танцующих поскрипывает деревянный настил; дисциплинированная публика движется двумя потоками: сначала все направляются к тирам, потом текут обратно, задерживаясь около предсказателей судьбы, глаза на американские горы и действующий макет железной дороги; в начале и конце променада холодные зоны: между черным небом и белым

бетоном шелестят подсвеченные
цветными лампами фонтаны; вдоль
озера вытянулись скамейки; по
темному зеркалу воды, точно
велосипедный фонарик, скользит
огонек парома, — все это такое же
шведское, как серебряные березы по
берегам Веттерна, и ярко
раскрашенные деревянные домишки,
и утка, затрепетавшая высоко в
воздухе, и терпеливая мать на
крошечной пристани. Но все эти
образы уже ничего не говорили ему;
он походил на человека без паспорта,
без национальности, на человека,
знающего только эсперанто.

Столик качнулся. Круг поднял
глаза и увидел высокого тощего

старика Хаммарстена, тянувшего к себе стул. — Добрый вечер, герр Круг. — Он потер пальцем седую щетину на подбородке и, пригнувшись, доверительно сообщил:

— Я отослал Пилстрема домой. Я сразу понял, что вам не до него. Я сказал, что видел, как вы уезжали в такси.

— И он вам поверил?

— Я не так прямо сказал, герр Круг. Я попросил одолжить мне денег на такси, чтобы успеть за вами.

— Ловко, профессор, но...

— И разумеется, он сам сел в такси и уехал. — Старик часто задышал, словно хватил кипятку, и

удовлетворенно кончил:

— Сейчас он уже на другом берегу озера.

— Как продвигается обучение языкам, профессор?

— Неважно, герр Круг, неважно. Приходится подрабатывать пером. Незаметно оказываешься в странном обществе: Пилстрем, англичанин Минти, Бейер. Вы знаете Бейера?

— Не имею чести, — ответил Круг.

— Бейеру нельзя доверять, — предостерег Хаммарстен. — Ведь это он приложил руку к недавней статье о вашем жизненном пути. — Хвалебная была статья.

— Но какая неточная! Только мы,

старики, охраняем Истину от козней этой – скажу вам честно, герр Круг, – не очень приличной профессии. – И с неожиданной злобой пробормотал:

– Пасквилянты. – Там все было достаточно верно.

– Но сказать, что вы вступили в товарищество, герр Круг, в 1911-м!

Согласитесь, что 1912 был бы, с вашего позволения, ближе к истине.

– Да, это был 1912-й.

– Я-то знаю! Пусть я не хватаю звезд с неба, но я скрупулезно, по годам расписал жизнь величайшего шведского... – Старик невероятно разволновался. От избытка чувств запотели его стальные очки, речь стала нечленораздельной. – Мне

представляется тот день, когда рядом с памятником Густаву Адольфу...

– Кружку пива, профессор? – оборвал Круг, не пытаясь скрыть усталость и раздражение. Он думал о том, что уже много лет этот опустившийся педагог вытягивает у него интервью, и он уступает – не из жалости, а по необходимости; все-таки человек представляет самую влиятельную шведскую газету и ему в самом деле есть чем похвастаться – он действительно старается быть точным. Не получив ответа, он коротко повторил:

– Пива? – Благодарю, герр Круг, – спускаясь на землю, грустно ответил Хаммарстен. Он замолчал и,

поглаживая ладонью кружку, пустыми глазами уставился на танцующих.

— Вы хотели поговорить со мной? — спросил Крог. — Я подумал, — ответил старик, — что вы захотите сделать заявление. Ваш уход из оперы после первого акта будет замечен. Поползут слухи. — Он помолчал и, подняв кружку, уронил в нее:

— Поверьте, я знаю, что вы думаете о нас, герр Крог. Мы вам докучаем, вы от нас никуда не можете деться. — Стальные очки съехали вниз по переносице. — Но и вы поймите нас — это наш хлеб.

— Никакого заявления не будет, — сказал Крог. — Неужели я не могу

иногда поступить как мне хочется, не задумываясь и не отчитываясь потом перед вами?

— Это абсолютно исключено; — сказал профессор.

— Вам можно, а мне нельзя?

— И нам нельзя, — ответил Хаммарстен, — причем нам даже нечем себя за это вознаградить. — Он склонился над кружкой и обмакнул в белую пену кончик носа. Платка на месте не оказалось; краснея и тревожно озираясь, Хаммарстен вытер нос уголком манжеты. — Я, например, герр Крог... вы будете смеяться, всю жизнь мечтал произвести в театральном мире маленькую сенсацию... но в самом

благородном смысле. Я бы хотел...
какое слабое слово: «хотел»...
поставить в Стокгольме... — и он
запнулся. — Да?

— Великого «Перикла».

— Это что такое?

— «Перикл» Шекспира. В моем
перевode.

— Хорошая пьеса?

— О — великая, герр Крог, и очень
смелая. Она предвосхищает
«Профессию миссис Уоррен». Я
много лет бьюсь над тем, чтобы
ученики постигли самый дух... У
Шекспира это самая высокая, самая
поэтическая... Разумеется, есть свои
трудности. Например, вопрос о
Гауэре. Кто он, этот Гауэр? —

Спросите у моего приятеля, он англичанин. Вот он. Фаррант, кто такой Гауэр?

— Мистер Круг, вы не возражаете, если девушка подсядет к нам? Ей хочется пить. Это видно, хотя она ни одного моего слова не понимает. Пепельно-светлые волосы, загорелая кожа — это красиво; на верхней губе бусинки пота; девушка обвела мужчин пустыми, ничего не выражающими глазами. Не проронив ни звука, она села, взяла стакан, желая одного: чтобы ее не замечали. Круг забыл, что существуют такие женщины. Он сказал — Фаррант, профессор Хаммарстен говорит по-английски. — В «Перикле» Вильяма

Шекспира есть старик по имени Гауэр. Кто он, по-вашему, этот Гауэр, мистер Франт?

— Боюсь, я не читал эту пьесу, профессор.

— Но вы наверняка ее видели, в Лондоне ее часто ставят. Старик Гауэр. «Из пепла старый Гауэр...»

— Я видел «Гамлета» и «Макбета».

— Эти меня не интересуют. «Перикл» — вот величайшая пьеса. По ее поводу у меня есть теория. «Из пепла» — это не из пепла, а «из ясеня». Из ясеновой рощи. Ясень, дуб, терновник — ведь это священные деревья. Старый Гауэр — это английский друид, он старый в том

смысле, в каком мы говорим о Мафусаиле; он жрец и король. И вот как я это перевожу; «Из рощи древний Гауэр...» Иными словами «из священной ясеновой рощи друид Гауэр явился к вам» – а никакой не «старый Гауэр». Вы согласны со мной? – Похоже, что так и есть.

Возможно, девушка почувствовала, что Крогу тоже не интересен разговор. Все так же молча она взяла его правую руку и положила перед собой ладонью вверх. В ее действиях не было и тени кокетства – просто она по-своему участвовала в общем разговоре. Мужчины любят, когда им гадают по руке; это поднимает их в

собственных глазах; им приятно, когда девушка говорит — «у вас впереди длинная дорога», приятно это касание рук, позволительное, как в танце, приятно услышать предостережение — «остерегайтесь двух женщин, брюнетки и блондинки», в такие минуты им море по колено. — У вас уже готово возражение. Действие происходит в Тире, у замка Антиноха, в Эфесе. При чем здесь, скажете вы, английский друид? — Понимаю, профессор. Действительно, странно. — На это возражение я отвечаю следующим образом: Шекспир ваш национальный поэт; он жил в бурную эпоху славной

королевы Бесс, в эпоху националистической экспансии.

– В вашей жизни много удач, – говорила девушка. – Держитесь за теперешнюю работу.

– Откуда вы приехали? – спросил Круг, поражаясь, что ей незнакомо его лицо.

– Из Лунда, – ответила она, трогая пальцем линию жизни. – У вас очень крепкое здоровье, вы долго проживете.

Все-таки приятно это слышать.

– А какая-нибудь неожиданность?

– Ничего такого. Вы трудно обзаводитесь друзьями, – продолжала девушка.

– Вам угрожают мужчина и женщина. Вы очень щедрый человек.

Профессор говорил:

– Я одену Гауэра в символический костюм, олицетворяющий империализм или националистическую экспансию.

– Девушки вас не особо интересуют. Вам больше нравится ваша работа.

– А какая это работа?

– Что-то умное. – Она отпустила его руку, сразу потеряв к нему всякий интерес; отпив пива, она устремила на танцевальную площадку взгляд больших тускло-мраморных глаз. Вскоре с поклоном подошел молодой человек, девушка встала и ушла. Ко

всему равнодушная, такая хорошенькая и невероятно глупая, она заронила в душу Круга покой и счастье, но едва он успел осознать это чувство, как оно ушло. Вот так иногда на скверной улице, осторожно обходя смятые папиросные коробки, картофельные очистки, грязь из прохудившихся труб, вдруг почувствуешь свежее дуновение, запах мяты, обернешься (она меня не знала... долгая жизнь... щедрый человек) — но запах уже пропал. Музыка смолкла, за соседним столиком девушка положила перед собой руку юноши, ладонью вверх.

— Когда же вы думаете поставить

эту пьесу, мистер Хаммарстен?

— Никогда. Это все так, мечты...

У меня нет денег, мистер Франт.

— Фаррант.

— Фаррант. У меня нет связей в театральном мире, импресарио не пустят меня на порог. Кто я такой? Школьный учитель и безумный поклонник Вильяма Шекспира.

(Долгая жизнь... щедрый...)

— Я даю вам двадцать пять тысяч крон, профессор Хаммарстен. — Старик молчал. Он отвернулся от Энтони и с полуоткрытым ртом смотрел на Крога. От потрясения он утратил дар речи. Хотя именно так он всегда представлял себе эту сцену, думал Круг: он годами мечтал о том,

что какой-нибудь богач позволит ему высказаться об этой пьесе — как он ее назвал? Забыл — и, убежденный его доводами, даст ему деньги. Старый дурачок раздражил меня, а теперь не верит, боится, что я шучу. — Позвоните завтра утром моему секретарю, — сказал он.

— У меня нет слов, — мямлил профессор, — я не знаю... — На кончике носа еще оставалось немного пены, он пытался смахнуть ее. — «Перикл»? — спросил он. — В моем переводе?

— Ну разумеется.

Профессор Хаммарстеу
неожиданно заговорил:

— В моем переводе — но вдруг он

плох? Я не знаю. Я никому не показывал. Вдруг люди не поймут. Друид Гауэр... Ведь сколько лет... — Ему хотелось объяснить, что в конце долгого путешествия начинаешь бояться встречи. Друзья состарились; может, тебя вообще никто не узнает. А что путешествие было долгим — тому свидетели седая щетина на подбородке, плохонькие очки в стальной оправе. — Я перевел ее двадцать лет назад.

— Найдите театр и подберите актеров, — сказал Круг. Ему уже наскучила щедрость. В конце концов, он не впервые такой щедрый. Ему полагается быть щедрым. Сто крон за бумажный цветок, новый флигель

для больницы, не уступающая
месячному заработку пенсия первой
жертве нового усовершенствования
резака. Все это попало в газеты,
произвело хорошее впечатление. Чем
необычнее пожертвование, тем
громче огласка, а это бывает очень
кстати, например, перед новым
выпуском или в такой момент, как
сейчас, когда приходится брать
краткосрочные займы, сбивать
продажу в Амстердаме, терять
порядочные деньки. Право, даже
занятно, что повезло не кому-нибудь,
а жалкому старику Хаммарстену, что
именно он нагрел руки на тревогах
Лаурина и Холла. Крог почувствовал
глубокое презрение к этому

престарелому педагогу, подрабатывающему журналистикой, в котором удача породила страх и неуверенность в себе, который не мог удержать очки на носу и сидел как в воду опущенный.

— Прошу прощения, герр Круг, — раздался высокий сиплый голос, и между бассейном, и танцевальной площадкой возник с кепкой в руке седой, тощий, с обвислой кожей на лице Пилстрем. Залитые прожекторами, казались бесцветными его редкие крашенные волосы. Опередив Круга и Энтони, профессор вскочил из-за стола. Он весь дрожал от возмущения, очки прыгали, он сунул руки под черные

фалды фрака. — Пилстрем! — Хаммарстен! — взвизгнул Пилстрем и осторожно приблизился. — Старый лгун! — выпалил он. — Стыдитесь!

— Вам тут нечего делать, Пилстрем, — заявил профессор. — Я не позволю вам беспокоить герра Крога. Если желаете знать, Пилстрем, герр Круг приехал сюда обсудить со мной один маленький проект, маленькую сенсацию, для которой нам нужна обоюдная поддержка. Вам нечего тут делать, Пилстрем, вам и вашей газете.

— Однако, Хаммарстен...

— Убирайтесь, Пилстрем, — оборвал его профессор и, ничтоже сумняшеся, позвенел в кармане

мелочью. — Джентльмены, вы не откажетесь распить со мной бутылочку вина?

По длинной лестнице на пятый этаж из Чистилища (оставив на другом берегу общественные уборные с похабными шутками, зависть, неприязнь редактора, недоверие, неприличные журналы) — в Рай (школьные фотографии, укромное байковое тепло, жесткая аскетическая постель) восхожу

невредимый я, Минти.

Всего ступенек пятьдесят шесть; четырнадцать ступенек – и второй этаж, здесь живут Экманы, у них двухкомнатная квартира, телефон и электрическая плитка; Экман работает мусорщиком, но без денег не бывает. Он частенько возвращается поздно, как Минти, возвращается выпивши и, одолевая свои четырнадцать ступенек, много раз кричит «до свидания» оставшемуся на улице приятелю, и фру Экман, услышав его голос, выходит на площадку и тоже кричит «до свидания». Не было случая, чтобы она осерчала на пьяного мужа; иногда она сама бывает навеселе,

тогда в дверях толкнутся и прощаются гости и дым дешевых сигар, разъедая ему глаза, преследует Минти все четырнадцать ступенек до третьего этажа.

Двадцать восемь ступенек — и вот она, пустая квартира. Она самая большая в доме, она обставлена, сдана и всегда пустует. Жильцы за границей, они не были дома уже два года, но квартира оплачена. Минти не видел их ни разу. Он умирал от любопытства и в то же время боялся прямыми расспросами покончить с неизвестностью. Так интереснее. Однажды в квартиру пришла убраться хозяйка, и Минти удалось заглянуть в прихожую; он увидел

гравюру, изображавшую Густава Адольфа, и подставку для зонтов, в ней торчал древний зонтик. Он поднялся выше, еще на четырнадцать ступенек увеличив разрыв с Экманами. На четвертом этаже жила итальянка, она давала уроки; он вспомнил коллегу Хаммарстена – эта дама работала с ним в одной школе; следующие четырнадцать ступенек он преодолел уже быстрее – пятый этаж, покой, дом. На двери висит коричневый шерстяной халат, в шкафу какао и галеты, на камине мадонна, под стаканом паук. Устал. И не так уж поздно, а надо ложиться.

Он зажег свет и первым делом закрыл окно от мошкеры. Снаружи

ступеньками поднимались к нему окна нижних квартир: все были дома, Экманы включили приемник. На умывальнике рядом с пауком счет за квартиру. Минти опустился на колени и покопался в шкафу. Он вылил в кастрюльку немного сгущенного молока, добавил две ложки какао, зажег газовую горелку, стоявшую у полированного комода красного дерева, и, пока напиток закипал, пошел за чашкой. Он нашел блюдце, но чашки нигде не было. На подушке заметил записку, оставленную хозяйкой: «Герр Минти, к сожалению, ваша чашка разбилась» — и подпись с завитушкой, никаких извинений. Придется пить из

стакана.

Паук, очевидно, умер, он весь сморщился, почему хозяйка его не выбросила — непонятно. Он взял освободившийся стакан и выпил теплого какао, потом поискал глазами мыльницу, где у него сберегались окурки, и увидел, что паук ожил. Он не умер, он притворился и теперь, раздувшись вдвое, по невидимой нити спускался к полу.

В Минти пробудился охотничий азарт. Вспомним молодость. Он заманил паука в стакан, оборвал нить, отрезав начатое отступление, и, быстро перевернув стакан, ловко усадил узника на мраморную доску

умывальника. Паук между тем потерял еще одну ножку и сидел в лужице какао. Терпение, думал Минти, разглядывая паука, терпение; может, ты еще меня переживешь. Он постучал по стакану ногтем. Двадцать лет протрубить в Стокгольме – не шутка. Надо будет завтра оставить записку: «Не трогать». Надо купить еще один стакан и чашку. Минти предстоят большие покупки! От возбуждения он даже забыл помолиться на ночь, а выбираться из постели на холодный линолеум уже не стоило: Господу важен не обряд, а вера. Чтобы молитва шла от сердца. И, сложив под грубым одеялом руки, он горячо

молил: чтобы Господь подвергнул сильных и возвысил униженных, чтобы дал Минти хлеб насущный и избавил от лукавого, чтобы Энтони не связался с Пилстремом и прочей компанией, чтобы посланник пришел на обед, чтобы новая чашка подошла к блюдцу; кончая, он благодарил Господа за его бесконечную милость, за счастливый и удачный день. В доме напротив один за другим погасли огни, скоро он перестал слышать, как в окно бьется мошकारа. Погасив лампу, он терпеливо замер в темноте, как тот паук под стаканом. И он так же подобрался, как паук, умудренно затих; вытянув тело, затаившись, он

лежал как мертвый и смиренно
искушал Бога: не забудь снять стакан.

Энтони явился минута в минуту. Сступив на Северный мост, он слышал, как на том и другом берегу куранты пробили восемь раз. Такая точность была не в его правилах. Он не любил приходить раньше женщины, ждать – это сразу ставит отношения на неверную почву. Женщина должна прийти первой, а он немного опоздать, пусть даже послонявшись для этой цели где-нибудь неподалеку, и явиться веселым, виноватым, рассеянным. Но сейчас особый случай. У него появилась работа, и, торопливо

шагая в утреннем тумане с Меларена, словно росой покрывшем его новое пальто, он на ходу тщательно отработал всю тактику: деловитость, пунктуальность, терять время на женщин некогда, он занятой человек, в начале десятого нужно быть в конторе, могу вам уделить час, на мне огромная ответственность. Но на другом конце моста она уже ждала его, и он смягчился. Какое глупое имя – Лючия; ужасно, бедная крошка. А уж как одеться постаралась: такая серьезная мордочка – и тут эта развратная шляпка. Она-то думает, что пришла на встречу с возлюбленным, а не случайным знакомым по Гетеборгу,

думал он, расплачиваясь предательской нежностью за ошеломляющее открытие, что женщина старается понравиться ему (даже если она высыпает на себя всю пудреницу, как Лючия Дэвидж). Как хотите, но даже последние стервы бывают наивны до слез. Даже у Мейб это было.

Увидев его, она заспешила навстречу. Они были одни на мосту. Высокие каблуки царапали мокрую от тумана мостовую, она ткнулась головой ему в грудь, сбив на затылок шляпку. Они расцеловались запросто, как старые друзья. Он вытащил из-за пазухи тигра, но он не догадался спрятать его сразу, теперь

игрушка была насквозь мокрая.

— Вы прелесть, — сказала она. — Какой он мокрый. Вы оба мокрые. Как утопленники. — И правда, в плотном тумане пальто и шляпа намокли так, словно побывали под проливным дождем. Пожалуй, еще на дне озера, подумал он, можно набрать столько воды, но подобные мысли угнетающе действовали на него и он отогнал их смехом:

— Я хороший пловец. — И соврал, потому что всегда боялся воды; когда ему было шесть лет, отец для пробы бросил его в бассейн, и он сразу пошел ко дну. С тех пор многие годы его преследовал страх утонуть. Но он перехитрил судьбу, готовящую ту

смерть, которой больше всего боишься. Рискует хороший пловец, а Энтони плавал плоха и положил себе никогда не рисковать. Он и сейчас не хотел рисковать: ему напомнили о сыром пальто, и он сразу запаниковал. Он очень по-матерински относился к собственному здоровью. — Вот что нам сейчас нужно, — сказал он, — чашка хорошего горячего кофе.

— И гренки с вареньем.

— И яичница с беконом.

— И чтобы был Лондон.

Оба рассмеялись, потом вздохнули, взгрустнув по Англии, по дому. Нечего здесь торчать, думал Энтони, он легко простужается, у

него от рождения слабая грудь, только с виду она такая атлетическая. Он поймал такси, и, запыхавшиеся, смеющиеся, они забрались в машину, не представляя толком, куда ехать, и испытывая ту неловкость, которая знакома всякой паре, впервые без посторонних отправившейся на прогулку. — Куда едем? — спросил Энтони. Шофер еще придерживал дверь; на мосту густо клубился туман, выжимал на мостовую дождичек; где-то около ратуши загудел пароход — звук вырос, упал, опять вырвался на волю, словно, симулируя поврежденное крыло, уводила от гнезда ржанка. — Я совсем не знаю этих мест. Выбирайте сами.

Так куда мы едем? – Снимая мокрое пальто, он подозрительно ощупал рубашку – сухая. Он никогда не чувствовал себя застрахованным от печальной развязки этих увеселительных экскурсий: постель, жестокая простуда, а то и воспаление легких. Она сказала:

– Едем в Дротнингхольм. Я там еще не была. Там есть дворец. – А завтрак там будет?

– Будет.

В тумане запотели окна, она ладонью расчистила стекло. Энтони поцеловал ее в склоненную шею. Она сказала:

– Бедный отец, если бы он знал, какой образ жизни я веду.

— Вы меня имеете в виду? — спросил Энтони. Она обернулась, но вместо задуманного безрассудно дерзкого взора он увидел взгляд испуганного звереныша. — Вы не единственный на свете. — Господи, испугался он, что она имеет ввиду? Надо как-то объяснить, что у него честные намерения, что сейчас он хочет только завтракать. Она небрежно обронила:

— И в Ковентри найдется несколько приличных мужчин. — У нее были неаккуратно выщипанные брови, и вообще над внешностью трудилась неумелая рука: слишком яркая помада, на шее засохшие пятна пудры. Она вела себя с неуверенной

развязностью новичка в интернате: его втайне что-то угнетает – может, физический недостаток, может, смешное имя. Лючия, подумал он, Лючия.

Отрекомендовавшись отчаянным существом и как бы предлагая ему действовать теперь на свой страх и риск, она спросила:

– Как ваша работа?

– Отлично, – ответил Энтони. –

У нас с Крогом нет ни минуты свободной.

– Он обнял ее за плечи и рассеянно погладил левую грудь.

– А что... чем вы, собственно, занимаетесь?

– Я его телохранитель. Эти промышленные тузы, знаете, очень

боятся, что их кто-нибудь продырявит. Ну, а я, — сказал он, в свою очередь набивая себе цену, — должен опередить такого.

Сбив набок шляпку, она прижалась к нему теснее, во рту у нее пересохло, она нетвердо сказала:

— Не может быть.

Ее возбуждение заставило его вспомнить свои обязанности — он покровительственно потрепал ее грудь и сказал:

— Очень может быть. Он настоящий денежный мешок.

— Я не про него, — сказала она. — Такая работа не для джентльмена.

— А я и не джентльмен, — сказал Энтони и поцеловал ее.

– Нет, – возразила она, – вы джентльмен.

Туман уже сходил с заросших цветами пригородных улиц, оставив кое-где белые хлопья, – на печных трубах, вокруг развалившихся колонн, в высоких вазах с цветами, около фонтанов.

– За это я вас сразу и полюбила. Вот этот галстук – он итонский?

– Харроу, – поправил Энтони.

– Я сноб, – сказала она. Ее признания представляли поразительную мешанину бравады и робости. – Я ужасный сноб. – Она наговорит на себя что угодно, думал Энтони, только бы не выдать свой испуг, незнание, как вести себя

дальше. — После этих иностранцев с вами приятно общаться. — Но вы в Швеции меньше недели.

— Как будто нужна неделя, чтобы раскусить пару-другую мужчин! — фыркнула она и, пожалуйста, сразу пугливое признание:

— Я впервые выбралась из Англии. — Он растерялся, он был совершенно сбит этими смутными намеками и ее разоблачительной наивностью. Когда берет сомнение, решил он, люби молча. Он снова поцеловал ее, поиграл ее грудью, похлопал по бедру. Ответная реакция его озадачила. Он чувствовал себя опытным игроком, которому попался не знающий дело противник; вы

хотите сорвать банк, у вас уже туз припрятан, вы искусной рукой сняли колоду, но нужно еще соблюсти известное условие — нужно, чтобы противник хоть немного играл. Есть формальности, которыми не желает пренебречь даже шулер. И вас раздражает в противнике неумение владеть лицом, простодушные обмолвки, вас бесит мысль, что можно было легко выиграть и без уловок, без этой подтасовки. Выходит, можно было играть честно! Она обхватила руками его голову, нашла губы; он почувствовал, как дрогнули и напряглись ее ноги. Она изнемогла, ей нужно утешение, она извелась в этом своем Ковентри.

Зачем тогда хитрить, лгать, морочить голову? Он с тревогой подумал — вдруг он попался на удочку и эта интрига скорее поражение, чем победа? Обнимая ее, он подумал о велосипедах, вспомнил пересадку в Регби.

Да и вообще нет необходимости чувствовать себя виноватым. В приступе оскорбленной нравственности он сокрушался, как просто стало соблазнить — исчезло очарование запертых дверей, распитой бутылки шампанского, полночных поисков «мужской комнаты». Похоже, он обманет ее ожидания. Гора свалилась с плеч, когда она опять забилась в угол и

занялась своей внешностью. Так и подмывает сказать:

– Выбросьте эту помаду. Она вам совсем не идет. – Он вспомнил костюмы Крога, загубленный хороший материал, чудовищный выбор галстуков. За людей надо взяться. После меня они хоть что-то будут понимать. Его лицо приняло ответственное выражение, когда он вообразил разговор с портными Крога, хождение с Лючией по магазинам. Он сказал:

– Мне не хочется называть вас Лючией. Лучше – Лу, – и прибавил:

– Наверное, в Ковентри неважные магазины.

Глядясь в пудреницу и по всей

машине пуская душистую пыль, Лу ответила:

– Нет, у нас есть очень хорошие магазины, вы не думайте. А кроме того, до Лондона меньше двух часов на поезде. Билеты дешевые. – Скучать вы себе, конечно, не позволяете, – заметил Энтони.

– Ну нет, – ответила Лу, – я разборчива. И потом, дома не разгуляешься. Отец поднимает скандал, если меня нет до двенадцати. Вы не представляете, какой бывает крик. Он ведь не ложится, пока я не вернусь. – И правильно, – сварливо одобрил Энтони. – В вашем возрасте не годится...

— Значит, вы против свободы личности? Может, еще станете читать мораль? Какой тогда смысл объездить весь свет, участвовать в революциях и так далее — и выступать против свободы личности!

— Мужчинам можно, — сказал Энтони.

— Всем можно, — упорствовала Лу. — Теперь, слава богу, есть противозачаточные средства.

— Ерунда это, по-моему.

— Да какая же девушка поедет с вами...

— Оставим эту тему, — сказал Энтони, — мы едем завтракать только и всего.

Она разочарованно спросила:

— Вы меня совсем не любите, Тони? Я не имею в виду что-то возвышенное. Терпеть не могу, когда люди разводят сентиментальную чепуху вокруг очень простых вещей. Не успеешь опомниться, как тебя опутают по рукам и ногам, и уже никого больше им не нужно, и ты изволь отвечать им тем же, как будто человек молигамное... то есть моногамное животное! Нет, физически — я вам совсем не нравлюсь? — Вы не понимаете, о чем говорите, — сказал Энтони. — Еще бы, — сказала она, — у меня нет такого опыта, как у вас. В каждой гавани девушка, а гаваней на свете много.

— Вряд ли у вас вообще был

мужчина, – брякнул Энтони. – Я-то уверен, что вы девственница.

Она вlepила ему пощечину.

– Извините, – сказал Энтони.

Ему было больно и обидно.

– Хамство говорить такие вещи.

– Извините. Я сказал: извините.

Такси остановилось:

Дротнингхольм. За кофе с булочками они еще препирались. Обоим хотелось есть, но как спросить по-шведски яйца, они не знали.

– Как вам удастся работать в Швеции, не зная шведского языка? – удивлялась Лу.

– На моей работе вообще никакого языка не нужно.

– Это несолидно.

— Разве солидное поведение не противоречит вашим взглядам? Заморив червячка, она могла уже спокойно растолковать ему, что солидность не имеет никакого отношения к свободе личности. Его раздражение утихло, он слушал даже с интересом. Совсем неглупая девчонка. К личной свободе она возвращалась несколько раз, но уже без практических выводов, и это, в свою очередь, тоже не удивило его. Если разобраться, она такая же несовременная, как и он. В Ковентри, видно, еще не перевелись теории, оправдывающие желание «весело пожить». Она сформировалась в эпоху, когда

американские замки произвели целую революцию в нравах. Сравнивая ее с Кейт, он не мог не отдать ей предпочтения. Кейт грубовата, она не станет подыскивать себе оправданий — ему до сих пор было стыдно и больно вспомнить ту минуту, когда она сказала ему в квартире Крога:

— Это моя спальня. — Он, конечно, знал, что она его любовница, но нельзя же говорить об этом так прямо, не пытаясь как-то оправдать себя. И явись такая необходимость, неприязненно подумал он, Кейт скорее заговорила бы о деньгах и работе, а не о личной свободе.

Милая Лу, думал он, какая несовременная, у нес, оказывается, есть принципы. Они шли по дороге к дворцу. Туман растаял; на сером мосту продавец расставлял под ярким зонтом бутылки минеральной воды, вишневой шипучки, лимонада.

– Я хочу шипучки, – сказала Лу.

– Вы же только что пили кофе.

– А сейчас захотелось шипучки.

По течению цепочкой спускался утиный выводок. Птицы производили впечатление занятых важным мальчишеским делом бойскаутов. Может, будут чертить мелом условные знаки на берегу, а может, сгрудившись, разожгут костер с двух спичек.

– Столько шуму поднимается из-за этого полового вопроса, – не унималась Лу. В ее стакане пузырилась ярко-розовая шипучка. Задрав лапки, утки одна за другой окунули в воду головы. – Великая важность, если кто-то переспал...

Приземистый белый дворец на краю луга с пожухлой августовской травой напомнил Энтони чучело распростершей крылья чайки. – Скажите, а сколько... – Всего два, – ответила она. – Я разборчива.

– В Ковентри?

– Один в Ковентри, – отчиталась она, – а другой в Вутоне.

– И вы хотите увеличить счет до трех?

– Баркис не прочь, – сказала она.

– Но ведь вам уезжать через несколько дней. – Они направлялись к террасе у заднего фасада этого холодного северного Версаля. Никогда еще Энтони так остро не чувствовал себя на чужбине. На террасе продувало, зябли несколько деревьев с желтеющими кронами, нескладно подстриженными, около двери в одном из флигелей торчала у порога бутылка молока. Держась за руки, они стояли на вытоптанной траве. Подошел человек с метлой и сказал по-английски, что дворец еще не открыт для осмотра. В «Лайонзе» на Ковентри-стрит в этот час уже открыто, думал Энтони, а после

завтрака всегда можно что-нибудь найти; хотя бы тот отель неподалеку от Уорддор-стрит, комнатухи сдаются на час, пусть там не очень романтично и не очень чисто — с девушкой и так хорошо. Мне, например, задаром не нужна их квартира на Северной набережной. Он до боли сжал пальцы, распалив воображение образами спиртового чайника, неряхи-судомойки с чистыми полотенцами, груды английских сигарет. Я был дурак, что уехал, подумал он; надо было переждать и найти работу; там бы меня не взяли голыми руками — я же знаю все ходы и выходы.

— Нас не пустят во дворец?

– Не пустят.

– Что же делать, надо возвращаться.

– Подождите, – сказал он. – Попробую его подкупить. – Он отправился искать сторожа с метлой и скоро нашел его возле сарайчика на краю террасы. Нет, сказал тот, дворец он показать не может, у него нет ключей. Если бы через час... правда, у него есть ключи от театра, если господа интересуются.

В маленьком театре сохранялась обстановка восемнадцатого века. Королевские кресла были увенчаны коронами, на длинных бордовых скамьях висели таблички, стерегущие мертвых: фрейлины, камергеры,

парикмахер. Энтони и Лу уселись, и провожатый, скрывшись за кулисами маленькой глубокой сцены, натягивая веревки, стал приводить в действие театральные механизмы. На истершееся кресло, где в масках и операх сиживали Венера или Юпитер, опустились пышные, как ягодицы Купидона, голубые и белые облака. Сторож выключил свет и произвел гром. Поднялась и осела пыль. — Надо придумать, куда пойти, — сказал Энтони. — Если бы мы были в Лондоне...

— Или в Ковентри.

— Как вы обошлись в Бутоне?

— У нас был автомобиль.

Поползли в сторону декорации,

из-за кулис судорожными толчками выехал поблекший элегантный пейзажик. Они тесно сидели на скамье, которую в былое время занимали королевский парикмахер и придворный капеллан; их ноги встретились и застыли; они всем существом тянулись друг к другу; им до дурноты хотелось близости. Все работает, как новенькое, объявил он, и снова исчез. Они слышали, как он ходит под сценой. — Придумал, — сказал Энтони. — Мы поедем к Минти.

— Кто этот Минти?

— Журналист. Одинокое существо. Скажем, что пришли позавтракать. Он подскажет, куда

можно пойти.

— Но вы в самом деле хотите? — спросила она неожиданно деловым тоном. — Я не собираюсь тянуть вас насильно.

— Очень хочу. Не меньше, чем домой.

— Люблю решительных людей.

— А-а, — его знобило от здешнего холода и неуютности: эти каменные дома по берегам озер, вода, всюду вода, эти чопорные люди, раскланивающиеся за шнапсом; как хочется легкого знакомства, слышать родную речь, глазеть на гвардейцев в парке, на автомобили, караулящие случайную подружку, на продавщиц, обойти бары. — Хорошо, если бы вы

тут остались или бы я уехал тоже. — Кейт карьеристка. Он ничего не понимает. Мне так мало нужно — виски с содовой, журнальчик, отели в Пэддингтоне, клуб в глубине Лайл-стрит; миллионер, сталь и стекло, непонятная статуя — к чему мне все это? — Если бы я мог уехать с вами.

— У вас несолидная работа. Я очень хочу, чтобы вы нашли что-нибудь поприличнее.

— После вас у меня тут ни души знакомой не останется.

— Мне кажется, так лучше. Не стоит заводить роман. — Почему же не стоит? — спросил Энтони. — Что в этом плохого? Не будьте снобом. Вы мне нравитесь, я вам нравлюсь.

Почему мы не можем видеться, пока это нам не надоест?

– Этого мало, – сказала Лу. Они поцеловались, вкушая отчаяние, гложущую боль разлуки, печать вокзалов; один уезжает, другой остается; отпуск кончился; ненужным мусором лежит в траве фейерверк, уже другие грустят с Пьеро и в окна морских ресторанов любуются спускающимися сумерками, и крепче всего, что было, этот поцелуй. У вас есть мой адрес, лязг дверей, пишите, взмах флажка, мы еще увидимся, клубы дыма заволакивают все кругом. Она освободилась. – Этого мало; – неуверенно повторила она. Он

потянулся, но не нашел губ и лизнул соленую щеку. — К чертям собачьим такую жизнь, — сказала она и с вымученной беззаботностью добавила:

— Простите за выражение.

Как странно, думал он, что-то дьявольски странное со мной происходит.

Он спросил упавшим голосом:

— Вы вернетесь сюда в будущем году? — Исключено, — сказала она. — Старики готовились к этой поездке всю жизнь. Но, может, Круг их обогатит. Они здесь вложили немного денег в «Круг».

— Он платит десять процентов.

— Нужно пятьдесят, чтобы опять

поднять их с места. Сторож еще раз крутанул гром. Потом стал выуживать кресло Венеры, оно с минуту раскачивалось на ветхих веревках, потом взмыло под облака и скрылось.

– Времени в обрез, – заметил Энтони, – а мы его тратим впустую.

– Понятно, куда вы клоните.

– А что, вы против?

– Конечно, нет. Для здоровья только полезно. – Опять из нее полез этот цинизм. – После Вутона прошло целых шесть месяцев. – Ради бога, – взмолился Энтони, – забудьте о Бутоне. Они ехали обратно; ради чего забирались в такую даль? Выпили кофе, Лу выпила вишневой шипучки

— и все. — Мы потеряли два часа, — подвел итог Энтони.

— Наверстаем, — ответила Лу. Подтянув колени к подбородку, она устроилась в самом углу машины; на неровностях дороги колени подкидывали ее голову. — В будущем году в это время...

— Где вы будете?

— Скорее всего, поедем в Борнмут.

Они вышли у магазина и купили бутерброды. Энтони не любил занимать руки, и Лу сама понесла пакет.

На площадке четвертого этажа они подошли к окну перевести дух. Обежав всю улицу, взгляд упирался в

воду; из-за озера со стороны Центрального вокзала доносились трамвайные звонки, было слышно, как в берег бьется вода. Отдышавшись, они поднялись на последний этаж. На двери была приколотая визитная карточка Минти: «М-р Ф.Минти». Не найдя звонка, Энтони забарабанил в дверь рукой.

— Интересно, как расшифровывается это "Ф", — сказала Лу.

Дверь открылась, и Энтони объявил:

— Мы пришли завтракать.

— Невероятно, — сказал Минти. —

Я очень рад. Обождите минутку — Минти приберется и заправит

постель. — Они слышали, как он разгладил одеяло, вылил умывальный таз, куда-то пошел в шлепанцах, закрыл шкаф, передвинул стул. Потом вышел и пригласил:

— Проходите, проходите. — Познакомьтесь: мисс Дэвидж.

— Доброе утро, — сказал Минти. — Мне очень приятно, такая неожиданность. Ничего, если вы сядете на кровать? Хотите какао? — Мы принесли бутерброды.

— Прямо пикник, — сказал Минти. Он опустился на колени, порылся в шкафу, вспомнил. — Вот беда! Хозяйка разбила мою единственную чашку. Спущусь к Экманам, у них есть. — Он продолжал

оставаться на коленях, зажав в руке банку сгущенного молока. — Можно, конечно, пить и отсюда. Я не частый гость у Экманов. Могут не дать. — Он оживился:

— Вспомним старину, Фаррант!

— Какую старину?

— Когда мы прятали в тумбочке банку сгущенки — как же вы забыли? И сосали через дырочку в крышке. — Он с сомнением взглянул на гостью:

— Вы когда-нибудь тянули молоко через дырочку, мисс Дэвидж? — Зовите ее Лу, — предложил Энтони. — Тут все свои. Хотите бутерброд? — Минти вынул ножик с двумя лезвиями, кривым шилом и штопором. Размеры ножика

объяснили происхождение странной опухоли на его кармане. Минти принялся шилом буравить крышку.

— Не проще открыть консервным ключом? — спросила Лу. — Это будет не то, — огрызнулся Минти. — И потом, у меня нет консервного ключа. — Он подал ей банку, зажигая в глазах недобрый огонек, когда, не пробуя, она передала ее Энтони. — Так что же, собственно, — спросил он, — привело вас к Минти?

— Дружба, — ответил Энтони, расправляясь с банкой. — Хотелось поймать вас до работы.

— Для хроники ничего нет?

— Ничего, — ответил Энтони. — Я рассчитывал, что мы вместе что-

нибудь подыщем.

— А Хаммарстен дал хронику. И Пилстрем.

— Мы встретили их вчера в Тиволи.

— Об этом и речь, — сказал Минти. Он опустился на колени около умывальника и грустно продолжал:

— Я знал, что они вас переманят, вы, наверное, пришли подготовить меня. Что будете работать с ними, а не со мной. Они предложили вам половину. — Он достал из шкафа еще одну банку, поболтал над ухом, положил назад. — Эту я вчера кончил. — Что они написали?

— Пилстрем пишет, что Круг не

дослушал оперу и уехал на автомобиле в Тиволи. Хаммарстен пишет, что в Тиволи он ездил обсудить какое-то театральное начинание, подробности в завтрашнем номере газеты. — И это, по-вашему, хроника?

— Все, что он делает, — хроника.

— Ну, если вам этого достаточно, то разговор шел о «Перикле», — сказал Энтони. — Под это дело Крог дает Хаммарстену деньги. — Что? — вскричал Минти. — Хаммарстену? С ума сошел. Они все сумасшедшие, эти денежные тузы. Заберут себе что-нибудь в голову — и готово. Могли вы подвернуться или я. Но подвернулся Хаммарстен. — В конце концов, это

его деньги, он может поступать с ними как ему нравится, – сказала Лу.

– Почему бы мне не оказаться на месте Хаммарстена? – обижался Минти. – Последние десять лет я ходил за Крогом как привязанный. – Он подошел к двери, обшарил карманы халата, сигарет не обнаружил, зато вытащил свалявшуюся пыль, какая обычно собирается под кроватью, и клочок бумаги. Записку он прочитал вслух: «Не забыть: канарейка, пирог, варенье из крыжовника».

– У вас есть канарейка? – спросила Лу.

– Выходит, этой бумажке пять лет, – подсчитал Минти. – Птичка

очень много пела и умерла. Но при чем варенье из крыжовника? Я никогда его не любил. — Он смял бумажку, чтобы выбросить, но передумал и сунул ее обратно в карман. — Если бы десять лет назад я заполучил такие деньги... — Или я, — подхватил Энтони. — Я бы сразу запатентовал зимний зонтик с рукогрейкой. Не было капитала! А дело было верное. — Ради бога, говорите о сегодняшнем дне, — запротестовала Лу. — Что вы все время говорите о прошлом? Какие странные. Разве у вас нет будущего? — Откровенно говоря — нет, — сказал Минти. — Если бы у нас было будущее, мы бы тут не сидели.

— А что такое? Чем плох Стокгольм?

— Это не Лондон, — сказал Энтони.

— Вот именно: не Лондон.

— Здесь в тысячу раз лучше, чем в Ковентри, — сказала Лу. — Милое дитя, — начал Минти, шаря пальцем в мыльнице. Те о чем-то пошептались за его спиной, Энтони заскрипел кроватью. — А мне нравятся такие мужчины, — повысила голос Лу. — Раз это его деньги. Минти обернулся и уставил на нее влажные горящие глаза.

— Это не его деньги. Он их взял в долг, он самый обыкновенный должник. Мы так не можем, потому

что нам не доверяют. Если бы нам доверяли, мы бы сами были Кругами. Он такой же человек, как мы все. Никаких особенных преимуществ у него нет. Однако нам приходится жить в обрез, нам не доверяют в банке, мы считаем каждую сигарету, ютимся в дешевых углах, экономим на прачке, крохоборствуем. Вам этого не понять, дорогая, — раздраженно кончил он, — вы слишком молоды. — Он не любил девушек и не собирался скрывать это; пошлые создания; несчастные люди, у кого есть сестры, в храме весь вид поганят своими шляпками. — Ничего подобного, — ответила Лу. Она беспокойно задвигалась, встала с кровати,

прошлась по комнате, пальцем проверяя пыль на стульях, подоконнике, на занавесках.

— Почему у меня нет работы? — пытал ее Минти. — Почему вот он зависит от своей сестры? Все из-за Крога. Покупайте «Крог»! Дешевле, рентабельнее, почти монопольное положение, издержки падают, дивиденды девять процентов. Крог прибрал к рукам все деньги, а работает у него вдвое меньше народу, чем в годы самой злой безработицы. По его милости у нас не протолкнуться на бирже труда. Поставьте обратно (это Лу взяла стакан), не трожьте моего паука, пожалуйста.

– Вы просто завидуєте ему, – сказала Лу, – потому что сами не умеете делать деньги.

– Попомните мои слова: он сорвется. Раз уж он стал брать краткосрочные займы...

– Да нет, он не аферист, – вступился Энтони. – Лу права. Просто он умнее нас с вами.

Минти икнул. – Это вы меня разволновали, – сказал он. – Живот. После того дренажа. – Опять икнул.

– Попейте воду с другого края стакана, – посоветовала Лу. – Не трожьте, не трожьте моего паука, – задерживая дыхание, прошептал Минти. Сосчитал вслух до двадцати. – Я неважный хозяин, –

сказал он. – Я не привык... если бы еще чашка была цела... вы застали меня врасплох... еще эта новость о Хаммарстене. – Его глаза не отрываясь следили за Лу, мстительно подмечая все промашки в ее внешности. – Но прекрасно, что вы зашли. – В глазах же с опаленными ресницами ясно читалось осуждение дурной косметике, дешевенькому платью с претензией на моду, бойкой шляпке. Жизнь с кем только не сталкивает! Но опускаться до их уровня нельзя. – Мне нужно идти, – сказала Лу.

– Я провожу, – встрепенулся Энтони. – Мне нужно с вами поговорить.

Поищем место, где можно присесть. Скансен. Это далеко отсюда? — Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сказал Минти, — располагайтесь как дома. — Он судорожно корчился в приступе икоты. — Как у себя в отеле. Оставайтесь и разговаривайте. Вам не помешают. К Минти никто не ходит.

— Вы опередили мою просьбу, — сказал Энтони. Снисходительно рассмеявшись, Минти похлопал обоих по плечу, входя в роль Пандара:

— А я-то думал, что вам захотелось проведать Минти. Обманщик Фаррант, обманщик. Бутерброды, значит, были взяткой и

мое сгущенное молоко вам понравилось только из вежливости. — Но его балагурство смутило их еще сильнее: он уступал, но не очень уступчиво. Вот вам судьба трюмной койки: терпи, кто ни ляжет, и носи на себе запах машинного масла и нищеты. — Я должен идти, — сказал Минти, — нужно дать хронику в газету. Устраивайтесь как дома. — Путаясь в рукавах, он стал надевать пальто; рука проскочила в прореху на подкладке, и, распылившись им на обозрение, он стоял, словно треснувший надвое черный пенек. Он был такой одинокий, такой оторванный, что те двое снова потянулись друг к другу, потому что

даже взаимный стыд, даже ссора сердечнее и теплее, чем такое сиротство. Обращаясь к одному Энтони, он сказал:

— До свиданья, — он не мог пересилить себя и взглянуть на Лу. — Вы случайно не могли бы занять мне несколько крон? — спросил он. — У меня только месячный чек и никакой мелочи. Ожидая платы, он старался не смотреть на них, не видеть постель. Он допустил в поле своего зрения только кувшин, таз и паука под стаканом. — Конечно, конечно, — ответил Энтони.

— Я верну, когда зайду в контору, вместе с вашей долей за новость. Мы сошлись на четверти — так?

– Эту берите задаром.

– Не знаю, как благодарить.

Минти не смел даже... Ну, побегу. Мне еще предстоят большие покупки. – Наконец он ушел. Он был в тяжелых ботинках, и весь лестничный пролет до четвертого этажа они слышали его медленные шаги. – Вот, – сказала Лу, – я же говорила: это что-то совершенно неприличное.

– Что именно?

– Да ваша работа. Иметь такое окружение.

– Я с ним не работаю.

– Ваша работа ничуть не лучше.

Если даже он говорит такое про Крога...

– Нашли кого слушать.

– Нет, в его словах что-то есть.

Она осторожно передвигалась по комнате; все, что она видела и трогала, казалось, источало самое бедность. Отовсюду липла бедность. Она обитала в коричневом халате, пыльной пленкой покрывала воду в кувшине, хоронилась в хламе, который Лу, одолеваемая любопытством, обнаружила в шкафу. Она перечисляла:

– Блюдце, пустая банка сгущенного молока, нож, ложка, вилка, тарелка – она не подходит с блюдцу...

– Оставьте его, – заступился Энтони. С его стороны очень мило

предоставить им квартиру, когда он терпеть не может девушек (что сразу видно). Нехорошо его осуждать, но разве ее остановишь? — Коробка спичек, одни горелые — почему не выбросить? Старая записная книжка. Он, наверное, вообще ничего не выбрасывает. Журнал. Школьный журнал. Адреса. Требник... причем католический. Какие-то смешные штучки... Что это? Игра какая-нибудь?

Энтони опустился рядом с нею на пол.

— Это ладан, — сказал он, пересыпая его из одной руки в другую. Словно печать окружающей бедности, на пальцах остался тонкий

запах. — Бедняга, — обронил он. Они коснулись друг друга, и снова их опалило нетерпение и сознание уходящего времени. — Страшная жизнь. — Нет, — сказала Лу, — она хорошая. В ней всегда есть это. — «Это» был поцелуй, тесное объятие и с неохотой отвлечения переход на кровать. Но в его руках уже не было страсти, в последнюю минуту он чувствовал опустошение, пустоту. Приятно повергнуть их в изнеможение, исторгнуть крики, приятно дать им удовлетворение, но сравняться с ними невозможно, их наслаждение острее, они теряют голову и, как Лу, твердят слова, над которыми в другое время смеются.

Она сказала:

– Я люблю тебя, – сказала:

– Милый, – потом:

– Самый прекрасный. – Его же

сознание витало в стороне, безучастное; он признавал школьную фотографию над головой, мадонну на камине, любовался собой, когда она вскричала:

– Не хочу, чтобы ты уходил, не хочу; – он спешил обмануть себя, что это победа, что он остался цел и прибавил к трофеям новый скальп, но, вытянувшись рядом, уже чувствовал, как его заливают знакомая пустота, и Лу кажется ангелом обаяния и простоты, и в голову наплзают наполовину

выдуманнные воспоминания. Он взглянул на нее, обнял; пустота страшнее любого поражения в любви, вот и она приходит в себя. Все-таки начинаешь иначе относиться к девушке после близости: появляется какая-то нежность.

– В его словах что-то есть, – сказала Лу. – Я проходила экономику в школе. Насчет краткосрочных займов он совершенно прав. Мне очень хочется, чтобы у тебя была приличная работа.

Наконец Амстердам ответил голосом Фреда Холла. Круг стоял у окна, голос с акцентом кокни струился из динамика. Утренний туман почти растаял, и только во дворике, как на дне вазы, лежала молочно-белая масса. Статуи не видно.

Надо знать чувство меры. Не такое уж это важное дело — статуя. — Я пробовал найти вас вчера вечером, — упрекал голос. — Меня соединили с оперой, но вы ушли. Звонил на квартиру — вас тоже не было. Я всю ночь не смыкал глаз, мистер Круг.

Фаррант кое-что понимает, и

статуя ему не понравилась. Нет, статуя – это тоже важно. Сейчас все важно: деньги на исходе, а нужно продержаться, пока не вступит в строй американская компания. Сейчас даже чья-нибудь глупая шутка может погубить его. – Продолжайте, Холл, – сказал он. – Что вас волнует? – Связь сегодня капризничала. Пришлось вернуться к столу. Когда кончим, подумал он, поднимусь к себе на часок, отдохну от людей.

– Они все еще продают.

– Значит, покупайте.

– А лимит, мистер Круг?

– Никакого лимита.

– Откуда же взять деньги?

– Я все устроил. Деньги даст АКУ...

– Нам потребуется почти все, что у них есть.

– Вы все и получите.

– Но как же... Тогда они перестанут объявлять дивиденды. Начнется паника. Это будет не единственная брешь. Все поползет. Вам придется латать дыры в Берлине, Варшаве, Париже – всюду.

– Нет, нет, – сказал Круг, – вы преувеличиваете. Вы слишком долго были в центре событий. Холл. Мне со стороны виднее. На будущей неделе мы запускаем американскую компанию, и тогда рынок наш. – А АКУ?

— Мы ее продаем. Покупает «Баттерсон». Миллион фунтов наличными. Можно целую неделю затыкать любые дыры. Так что продолжайте покупать. — Но в АКУ не останется ни фартинга. — Тихим свистом донеслось из далекой комнаты в Амстердаме дыхание Холла.

— Она будет стоять ровно столько, сколько сейчас. Правда, в акциях амстердамской компании.

— Но вы-то знаете, что мы не стоим денег, которые тратим. — Разговаривая с Холлом, Круг не нуждался в телевидении: они так давно знают друг друга, что для каждой его интонации Круг мог

вообразить сопроводительный жест — укоризненное покачивание ногой, опасливое поигрывание часовой цепочкой.

— Нет, стойте, Фред, — сказал Круг. Сейчас он был снова счастлив — он имел дело с цифрами; здесь он знал все, здесь он все мог, потому что цифры не живые люди. — Вы стойте больше. Мы вам обязаны своим кредитом. АКУ — это пустяк. Мы поместили в нее деньги, а теперь решили продать. Но если у вас сорвется, то прогорит и ИГС.

— Но реальная стоимость...

— Три минуты, — сказал голос по-немецки.

— Реальной стоимости не

существует, – сказал Круг. Он взял со стола и поставил обратно пепельницу – «ЭК». – Существует цена, которую людям угодно платить. Следите за каждой вашей акцией на амстердамской бирже. Цену нужно поднять.

– Здесь стали сбывать акции. Ходят всякие слухи... – У вас есть деньги. Вы можете держать твердую цену. И тогда перестанут продавать.

– Значит, сегодня я опять весь день покупаю?

– Вам может не хватить агентов. А денег хватит.

– Но «Баттерсон» не решится купить.

– Я лично гарантировал им

возместимость вложений в АКУ. Они имеют дело с «Крогом», Холл.

– А потом они проверят книги...

– И обнаружат, что вложения сделаны в акциях нашей амстердамской компании, а та является дочерней компанией ИГС. Что может быть надежнее, чем вложить деньги в «Крог»?

– А как-нибудь иначе мы не можем достать деньги, мистер Крог? – Впрочем, в голосе уже не было настоящей тревоги; ничто не могло подорвать его веру в Крога, а тем более это маленькое мошенничество. Он повиновался ему безропотно, в его преданности было даже что-то средневековое: подобно

рыцарям Генриха Второго, он ловил любое желание своего господина, он мог бы угадывать его желания, будь он поумнее. — Меня здесь никто не подменит? — рядом Холл тоже неоценим: маленькая ловушка, легкий шантаж. — Вы отлично знаете, Холл, как трудно сейчас с деньгами. Краткосрочных займов мы уже брать не можем. Нам бы с этими расплатиться. — Мне кажется, они поднимут страшный шум, когда разберутся. — Купив, они не станут шуметь. Что они скажут акционерам? Они не осмелятся оказать на нас давление. Им придется выждать. А когда нас не будет держать Америка, я откуплю у

них компанию, если они захотят. Все будет в наших силах. Кстати, я принял меры предосторожности. Приобретение акций я пометил задним числом.

– Шесть минут.

– И директора дали свое согласие? – благоговейно замирая, спросил Холл. – Конечно, – успокоил Круг. Не станешь ведь объяснять Холлу, что из-за такого пустяка, как подписать чеки, совершенно незачем держать совет со Стефенсоном, Асплундом, Бергстеном. У него есть их факсимиле на резиновых штемпелях. Лаурина он тоже не стал посвящать в это дело, успеется. К тому же покупка акций была

помечена такой старой датой, когда Лаурин просто еще не был директором. Он тихо проговорил в телефон:

— Сейчас уже все в порядке, Холл.

— Вам видней.

— Несколько дней назад я немного понервничал. Не чувствовал себя готовым. Здесь заводятся порядки, как в Америке. Готовили забастовку, а Лаурин как нарочно заболел. Но я все уладил. В газеты ничего не просочилось, и никаких письменных обещаний я тоже не дал. Так что дела идут превосходно, Холл.

— Мне, значит, покупать?

— Сегодня утром это должно

кончиться. Рассчитывайте на деньги от «Баттерсона». Возвращайтесь, когда кончите дела в Амстердаме. Можете понадобится. На фабрике неспокойно.

— Я приеду сразу же, мистер Крог.

— До свидания, Холл.

— До свидания, мистер Крог. —

Но голос еще вернулся, смяв предупреждение «девять минут». — Не думайте, что я против маленького обмана. Вы меня знаете, я не против. Если стоимость обеспечена, то не о чем и говорить.

— Стоимость бывает разная, — тихо внушал Крог. — Ее нельзя вычислить. Стоимость это доверие.

Мы чего-то стоим, пока достаем деньги. Пока пользуемся доверием. — Он опустил трубку.

Холл — это человек на своем месте. Другой, поумнее, пожалуй, уже перепугался бы. Успокоив Холла, он почувствовал некоторую слабость: нет, его не мучили сомнения — это была приятная физическая усталость. Холл и тогда говорил:

— Трение будет слишком большим, — и ошибся. Холл всегда ошибался, но его можно переубедить. В пререканиях с Холлом встали на место все обстоятельства, прояснились отдельные мысли и теперь можно попробовать убедить недоверчивого и боязливого Лаурина.

Он позвонил Кейт и спросил:

– Где Лаурин?

– Еще болеет, в Салшебадене.

Послушай, Эрик, мне нужно поговорить. – Не сейчас. Через пять минут. Я поднимусь в тихую комнату. Где твой брат?

– Еще не приходил.

Он аккуратно разложил на столе бумаги; отобрал, с собой несколько писем, увидел конверт с билетами на концерты и, улыбнувшись, порвал его. Сейчас дела шли превосходно. Ему не верилось, что еще несколько дней назад он буквально сходил с ума от беспокойства. Я слишком много думал о прошлом. Он всегда презирал людей, думающих о

прошлом. Жить значит забывать, быть свободным, как все потерявший в кораблекрушении человек. Чикаго, Барселона, школа в Стокгольме; ученичество в Нючепинге, избушка на берегу Веттеркз — все поплыло назад, как фигуры на платформе, когда поезд трогается; они остались с залами ожидания, буфетом, туалетами — их забыли, не взяли на этот поезд. Он думал: вчера я хорошо отвлекся. Я никогда так хорошо не отдыхал. Теперь можно глядеть вперед. Направляясь к двери, он выглянул в окно и снова увидел фонтан. Но на этот раз рукотворная глыба зеленого камня совершенно неожиданно наполнила его

восторгом. Тут не было прошлого, не было законченности, когда отделаны каждый сосок, ямочка на руке, коленная чашечка; здесь было сегодняшнее, оно изнутри распирало камень, ломилось наружу. Восторг быстро угас, зато теперь он уже не тревожился за фонтан. Он думал: через неделю Америка – и тогда мы сможем двинуться вперед, никакая депрессия не будет нам грозить; жалкие люди, им кажется обманом эта ясность, это длинное сложное уравнение, которое наконец я знаю, как решить. И поднимаясь в стеклянном лифте в тихую комнату под самой крышей, он не переставал чувствовать чистую холодную

радость.

Кейт внимательно перечитала меморандум. Сначала она не придавала ему значения. Об АКУ она знала только, что это самый процветающий бумажный синдикат в Швеции и одно из самых удачных капиталовложений Круга, причем инвестицию он провел на свой страх и риск, не советуясь с директорами. Оказались лишние деньги, он поместил их в дело — только и всего,

и поэтому продажа АКУ компании «Баттерсон» ровным счетом ничего не значила. Он продавал, чтобы развязать себе руки для чего-то другого. Откуда же эта тревога?

На душе было беспокойно. Тревожили краткосрочные займы. Что-то неопрятное есть в снующем малыми долями капитале, это раздражает, как захватанное зеркало. Хочется видеть чистое отражение. В дверь постучали. Она думала: не может случиться ничего плохого, это все надежно — кабинеты из стали и стекла, интерьер редкой породы дерева, обои с рисунком восемнадцатого века в директорской столовой, заводы в Нючепинге, эта

ваза с дорогими цветами. Она думала об АКУ. В меморандуме приводились цифры: годовая продукция – 350000 тонн, из них 200000 на экспорт; бумагоделательные фабрики: производство древесины – 300000 тонн, целлюлозы – 1300000 тонн; лесопильни: 15000 миль лесозаготовочных полос, 50 миллионов ежегодно сплавляемых бревен. Это все есть, это реальность. – Встречай блудного брата, – сказал Энтони.

Кейт подняла на него глаза. Вот реальность, подумала она; то были цифры, я видела, что делает с цифрами Круг, а это – я сама. Он улыбался. – Я опоздал. Великий

человек гневается?

— А что случилось? — спросила она. Он был оживлен и одновременно сдержан. Охорашиваясь перед зеркалом, он ждал, что она сама догадается, где он пропадал. Ему достались слабости, полагавшиеся ей: нерешительность, тщеславие, обаятельная взбалмошность опрометчивых поступков. Кажется, все ее желания исполнились: он здесь, в одной комнате с нею, можно спорить с ним, дразнить, уступать. Ближе бывают только любовники, но уж тут ничего не поделаешь.

— Я встречался с Лу, — сказал Энтони.

– С какой Лу?

– С той девушкой, Дэвидж.

– Вижу, – сказала Кейт. – У тебя

все пальто в пудре. – Она хочет, чтобы я уехал отсюда. – Неловко пояснил:

– Считает, что у меня неприличная работа. – Он картинно оперся на ее стол; живое воплощение нашей морали, подумалось ей. В зеркале за его спиной она поймала свое отражение: бледный сосредоточенный профиль, подведенные веки смягчают жесткий взгляд, позволяя думать, что в конечном счете она не такая уж непреклонная, какой кажется. Красивая внешность и

привлекательный моральный облик, думала она, вот принадлежность и украшение нашего класса. Мы сломлены, разорены, у нас все в прошлом, нас хватает лишь на то, чтобы тянуться к чему-то новому, что сулит нам выгоду. Круг стоит нас обоих, но она не могла оторваться от этой грациозной позы, от накладных плеч нового пальто — что ни говорите, собой любоваться приятно. — Да, — продолжал Энтони, — в ее словах что-то есть. Пожалуй, такая работа не к лицу... ну, ты понимаешь.

— Отнюдь нет.

— Ладно, если нужно это слово, — не к лицу джентльмену.

— Ты сам ничего не понимаешь, — сказала Кейт. — У нас нет выбора.

— Я не говорю про твою работу. Это другое дело. — У нас нет выбора, — повторила она. — Другого будущего у нас нет. Наше будущее здесь.

— Да ну, — отмахнулся Энтони, — громкие слова. В конце концов, мы здесь иностранцы.

— Конечно, конечно, мы с головы до пят англичане, — сказала Кейт. — Но сейчас национальность не имеет значения. Круг не разбирает, где чья граница. Ему нужен весь мир.

— Минги говорил о краткосрочных займах, — сказал

Энтони.

— Это временное.

— Выходит, это правда? — поразился Энтони. — Неужели так плохо с деньгами? Дело дрянь. Ты уверена, что нам ничто не грозит? Отлично понимаю корабельных крыс. Лично я не желаю погибать на капитанском мостике. — Ты пойми: люди нашего склада никогда не одолеют Крога, — сказала Кейт. — Что нам дала твоя и моя Англия? Пустой кошелек, пыльные конторы, мой Хэммонд, твои забегаловки, Эджуэр-роуд, случайные подружки в Гайд-Парке. — Она сознательно прогнала мысль, что в их жалком английском прошлом уважали честность,

кроме того, — продолжал он, занятый своими мыслями и не слушая ее, — ты любишь Крога, тебе и тут хорошо.

— Никогда я его не любила. Полюбив, мне пришлось бы его презирать. Некоторым любовь не на пользу. Это трудно объяснить. Нужно думать вместе, чувствовать. Он думает цифрами, а людей вообще не понимает. — Вчера он был вполне нормальным человеком, — сказал Энтони. — Отдай его мне. Я его перевоспитаю.

— Упаси бог, — сказала Кейт. — Спасать вас обоих у меня уже не хватит сил.

— Я пробужу в нем человека. — Какой ужас, он действительно ничего

не понимает.

– Мне кажется, – продолжал Энтони, – он даже не знает своих сотрудников. Я тут поговорил с людьми. В отделе рекламы сидит молодой парень. Так он в глаза не видел Крога! Между прочим, они недовольны. Заведующим дана слишком большая власть.

– Тебе много порассказали, я вижу, – сказала Кейт. – Только те, кто знают английский язык. Конечно, они надеются, что я могу им помочь. Они знают, что у меня хорошие отношения с Крогом. – Ты, конечно, не смолчал об этом?

– А что? От дружбы не бегают.

– Мне нужно повидать Эрика, –

сказала Кейт. – Может, пообедаем потом? Я бы показала, где можно...

– Послушай, старина, – замялся Энтони, – нескладно получается. Я обещал пообедать с папочкой и мамочкой, если Круг отпустит. – С папочкой и мамочкой? – И почти без паузы:

– А, конечно. Прости, отвлеклась. Я понимаю, о ком ты. – Но оправдание опоздало, он успел рассердиться. Сдерживаясь, он объяснил:

– В конце недели они уезжают. Я должен отплатить им любезностью. Отвести куда-нибудь покормить. – Безысходная грусть сдавила сердце: я-то думала

покормить его самого. – Ты хоть знаешь, где можно поесть?

– Да, – сказал он, – примерно. Я говорил со здешними ребятами. Хорошие ребята.

– У тебя масса знакомых, я вижу. Оправдываясь, он повторил:

– От дружбы не бегают. Старик Хаммарстен еще не звонил?

– С какой стати?

– Вчера в Тиволи Круг обещал ему деньги на шекспировскую постановку. Про Гауэра.

Она изумленно уставилась на него. – Деньги на постановку? Сейчас? – Упрекнула:

– Без тебя и тут не обошлось? – Рассмеялась:

– Как тебе удалось? – В ее глазах была настороженность. Он сама слабость, но слабость может пересилить силу. Она вспомнила его первую службу в Уэмбли и письмо, которое перехватила не с целью уберечь отца от волнений, а чтобы внести нужные поправки в последующие показания Энтони. Мальчик умный, писал директор, отлично соображает, жалоб особенных нет, но очень дурно влияет на окружающих. – Как тебе удалось? – спросила она, тронув его за рукав; какое мокрое пальто. Пропуская ее, он отступил от стола, оставив на его полированной поверхности пятно. Она вытерла его

рукой. Похоже на плесень. – В озере купался? – спросила она.

– Туман был очень густой. Я встречался с Лу перед завтраком. – Тебе надо выпить корицы с хиной, – забеспокоилась она. – После того плеврита у тебя очень слабая грудь.

– Перестань, – взмолился Энтони. – Ты все про меня знаешь, Кейт. Прямо как жена, честное слово.

– Ну, прости. Мы слишком затянули разлуку. Наверное, сейчас ты стал крепче. Я же ничего про тебя не знаю. Не знала, что ты хорошо стреляешь. – Она сдалась – глупо ударяться в амбицию, никакая сила не выстоит перед этой замкнутой упрямой слабостью. – Давай

пообедаем завтра. Мне нужно многое, — нет, не спросить, нельзя пугать его этим словом, — услышать от тебя. Почтовые открытки в один вечер в Гетеборге — согласишься, это мало. Прежде мы знали друг друга лучше. — Когда, скажем, я стояла в углу классной комнаты, думала она, и слышала его крик, и не в том даже дело, что в ту пору они знали друг друга лучше, а просто было чувство, что носишь в себе громадного ребенка, и он сопит, смеется, плачет в матке. И в те годы я бы согласилась на аборт; но сейчас... Не это ли чувствуют после удачной операции? Боли нет, ничто в тебе не шевелится, бояться нечего и надеяться не на что.

Все тихо до отчаяния.

— Извини, Кейт. Боюсь, что завтра... В конце концов, — оборвал он себя, — я теперь никуда от тебя не денусь. Уступи меня пока Лу. — Ладно, — сдалась Кейт, — освободи для меня день-другой на будущей неделе.

— Я выпью корицы с хиной, — пообещал Энтони, ища примирения. Он вытащил из вазы цветок и сказал:

— Возьми. Очень пойдет к твоему платью. У тебя есть булавка?

— Я не ношу цветы на службе, — сказала Кейт. В дверях оглянулась — он вдевал цветок в петлицу пиджака.

Все ее желания исполнились, даже самые заветные: он рядом,

хозяйничает на ее столе — «дом вдали от дома». Вышло солнце, вокруг фонтана высыхал туман, в стеклянном коридоре около лифта припекало. Она попыталась взбодрить себя неуклюжей шуткой: «дом вдали от дома», и сама же поплатилась: разве сможет она повторить его Лондон в стеклянных интерьерах Крога? Хорошо какой-нибудь курортной хозяйке: четки, камин, медная решетка — и готов Бирмингем. А она так не могла и, главное, не хотела; сейчас она как раз хотела оградить его от всего этого; он упрекнул:

— Тебе всегда нравился этот современный хлам, — и она

отреклась, но не вполне искренне. В сердце томилось пыльное праведное прошлое, но рассудком она клялась в верности настоящему, этому обманному дню, душевной очерствелости; она темным тоннелем соединяла два пейзажа: по одну сторону – скученные домишки, на дворе сушат белье, валяются разбитые оконные рамы; по другую...

Она постучала в дверь и вошла. В обитой грубым сукном комнате на диване лежал Эрик.

– В чем дело, Кейт? – спросил он. – Присаживайся. В комнате не было ни телефона, ни картин, ни стела – только стул для секретаря.

— Я немного волнуюсь, — призналась она.

— Из-за чего?

— Из-за этих краткосрочных займов. — Она была благодарна ему, что он не поднял ее на смех, а выслушал с серьезным видом, словно кто-то сведущий подал реплику на совещании. Ее охватила жалость — так жалеешь человека, которого беззастенчиво «используешь». А она использовала его с самого начала, с той первой встречи в конторе Хэммонда; она сумела тогда понять, что ему нужно, и по мере сил старалась, имея перед собой одну-единственную цель: чтобы Энтони беседовал внизу с «ребятами», чтобы

он дарил ей ее собственные цветы, чтобы ему было хорошо как дома. — Я понимаю, — сказал он, — сейчас тревожное время. Всем трудно.

— Но ничего опасного?

— Ничего, если мы не растеряемся. И не наговорим лишнего. — А как же эта помощь Хаммарстену? Это не растерянность? Разве ты можешь себе это позволить сейчас?

— Подумаешь, непозволительная роскошь — двадцать тысяч крои. Реклама в пять раз дороже. Сейчас именно нужно тратить деньги. Я заказал два автомобиля. Когда их пришлют, старые можно продать. Походи по магазинам, Кейт. Купи

что-нибудь.

– Тоже для рекламы?

– Ты не представляешь, как пристально следят за каждым нашим шагом.

– Да что им нужно? Зубную щетку нельзя купить спокойно.

– Ты это знаешь лучше меня. Я плохо разбираюсь в людях.

Она понимала людей: их угнетает сознание непрочности своего положения. Не то чтобы они завидуют его деньгам или выражают недовольство его глобальными планами – нет: им нужны сенсации, чтобы на время отвлечься от собственных неурядиц, нужны убийство, война, финансовый крах и

даже финансовый успех, если он более или менее молниеносен. Ей сделалось не по себе при мысли о том, какая страшная, тупая сила давит на сильных мира сего, вынуждая их рисковать положением в угоду сенсации: ультиматумы, телеграммы, лозунги — и откупаешься, бросая на ветер фантастические деньги. Противостоять этому давлению может лишь тот, кто абсолютно не представляет себе, чем живут люди, глухой к самому себе. А Энтони хочет пробудить в нем человека!

— Еще меня беспокоит эта продажа «Баттерсону». АКУ — выгодная компания. Почему мы от

нее избавляемся? У нее надежное положение. — Ее поразила странная безучастность его взгляда; он чем-то возбужден, что-то скрывает. — Я знаю, что у нее прочное положение. Я видела цифры.

— Даже АКУ нужен капитал, — ответил Эрик.

— Но у нее есть капитал. Вложения надежны.

— Директора изыскали более рациональную форму вложений, — сказал Эрик.

— Ее капитал влился сейчас в нашу амстердамскую компанию.

— Понятно, — сказала Кейт.

— Ты соображаешь быстрее, чем Холл.

Она думала: долгожданная минута — мы преступаем закон, плывем в неизведанные края. Какое странное чувство безразличия. Вот что значит жить в постоянном ожидание тягостной разлуки, слез на пристани, скрывшегося парохода. Только одно и осталось спросить:

— Мы ничем не рискуем? — Почти ничем, — ответил Эрик. Она безгранично верила ему, и если «почти» — то ничего страшного. Перед любимым человеком, за которого отвечаешь, нет нужды храбриться и ломать комедию. Он добавил:

— Ты увидишь, что некоторые чеки и записи в наших книгах

помечены задним числом.

— Понимаю, — ответила Кейт. — Что нужно сделать? — Ничего, уже все сделано. — Он встал. — Знаешь, Кейт, ты не ошиблась насчет фонтана. Он мне нравится. — Он взял ее за руку. — Ты живее соображаешь, чем Холл. Ему фонтан не понравился. — Она ощутила тревогу в его пальцах.

— Все-таки риск есть, — проговорила она.

— Все обойдется, когда наладится сбыт в Америке, — успокоил Эрик. — К концу недели все образуется. Мы почти в безопасности. С забастовкой улажено.

— Но что-то еще может случиться?

— Несколько дней мы должны быть очень осторожны. Ты видишь, — сказал он, — как я тебе доверяю. Мы столько лет вместе, Кейт. Ты согласишься выйти за меня замуж?

— Ах да, ведь жена не имеет права давать показания. В Швеции такой же порядок, как в Англии?

— Швеция меня не волнует. Я думаю именно об Англии.

— Спасибо, что не стал просить у меня руки и сердца.

— Мы деловые люди, — сказал Эрик.

— Тебе придется выделять мне содержание.

– Разумеется.

– И что-нибудь сделать для Энтони.

– Энтони мне нравится. Толковый парень. Он мне очень нравится, Кейт.

– Ты дашь ему содержание?

– Да.

– Жаль, – вздохнула Кейт, – что наш брак нельзя пометить задним числом, как чеки. – Она улыбнулась. – Энтони будет приятно. Энтони воплощение порядочности. Энтони... – и запнулась; получалось так, словно она выходит замуж за Энтони, а не Эрика – Эрик напряженно тянулся перед ней, как шафер в ризнице. Энтони устроен,

думала она, я исправила вред, который нанесла, отослав его обратно, прогнав из сарая — приспособливаться, набираться уму-разуму, жить, как все живут. Он попытался вырваться, а я отослала его обратно. Теперь у него все впереди. Но к радости примешивалось сожаление; она не могла забыть мюзик-холла и как они ели яблоки, чтобы отбить запах. Казалось бы, уже бесповоротно веришь в мир без пограничных столбов, в мир, где на каждой бирже царствует Круг, и в то, что нужно без излишней щепетильности добиваться самого главного в жизни — устроенного положения, а горло-таки

спирает ветхая честность и пыльная бедность Монингтон-Креснт, когда в раздумье тянешь:

– Энтони будет приятно. – Когда это состоится? – Подождем день-два, – ответил Эрик, – посмотрим, как повернутся дела. Если продажа АКУ сойдет благополучно, – заключил он, – можно будет и вообще повременить.

Кейт почти любила его в эту минуту. Он не боялся быть откровенным с нею даже сейчас, когда его книги аккуратнейшим образом подчищены. Ей приходилось слышать о том, какими огромными суммами он откупается от шантажа; сейчас впервые представился случай

самой шантажировать его, если захочется. Но ей не хотелось: она его использовала, и только справедливо, чтобы он, в свою очередь, использовал ее. — Ты в любом случае мог довериться мне, — сказала она.

Он кивнул со всегдашней готовностью верить ей на слово; к отчетам он относился не в пример строже: за любым бухгалтером сам проверял каждую цифру. Она взяла его руку, поцеловала ее; как его жалко — один в этой суконной тихой комнате, где никому не позволено тревожить его. — Эрик, милый, — сказала она, — пойду обрадую Энтони, — и вышла из комнаты. В лифте ей почему-то вспомнилось,

как однажды она видела на Северном мосту потерявший управление трамвай: сталь, стекло, лицо вагонновожатого, налегшего рукой на тормоз, вспыхивающие за стеклом электрические искры. Трамвай с грохотом пронесся в темноте, но было достаточно увидеть его мерцающий свет, чтобы понять: случилась беда. Он налетел подобием страсти — слепящий, стремительный, ненадежный.

— Поздравь меня, — сказала она себе в лифте, — я выхожу замуж. Энтони, я выхожу замуж, — и с неожиданной теплотой подумала: наверное, то же чувствует Эрик, когда подводятся итоги, извлекается

квадратный корень, правильно находится логарифм. На пороге комнаты она сказала еще раз:

— Я выхожу замуж, Энтони.

— За кого, Кейт? — вскинул он на нее глаза. Он сидел за ее столом, и опять ее охватила сырость, на столе остались влажные следы от его локтей. — За Эрика, разумеется. За кого же еще?

— Нет, — сказал Энтони, — ты не можешь. — Она разглядела, что он читал служебные бумаги на столе и даже распечатал телеграмму, которая пришла в ее отсутствие.

— Это что такое! — воскликнула она. — Ремня захотел?

— Этот номер у него не

пройдет, – сказал Энтони.

– О чем ты?

– Можешь мне поверить, я разбираюсь в таких делах. Считать не разучился. Соображаю. – Он был серьезен, как школьник. – Не все можно, Кейт, есть предел. Я их раскусил. У него не получится выехать на чужой счет. В «Баттерсоне» сидят не дети.

– Эрик тоже не ребенок.

– Права была Лу – неприлично это все.

– Отдай телеграмму.

– Возьми, – сказал Энтони, – убедись. Он хочет выручить Амстердам за счет АКУ. Это яснее ясного.

– Подумаешь, удивил, – сказала Кейт. – Я и без тебя это знаю. Даже знаю про чеки, датированные задним числом.

– Задним числом! – растерянно присвистнул он. – Чтобы в «Кроге»... и мы это знаем...

– А ты помалкивай об этом.

– Молчание стоит денег, Кейт.

Вот где мы разные, думала она: я для него сделаю все на свете, а он некоторых вещей не станет делать для меня, да и для себя тоже. Правда, какие это вещи, отходчиво улыбнулась она, я и сама толком не знаю. Приятно сознавать, что после стольких лет она не до конца разобралась в Энтони. – Энтони, я не

собираюсь его шантажировать, — сказала она. — Я выхожу за него замуж.

— Но ты не любишь его, Кейт. — Как он прост, как безнадежно наивен: он думает, что шантаж это так же легко, как украсть горсть слив. Нельзя быть таким неосновательным, он не понимает, где живет, его нужно защитить. Напрасно, что ли, она готова для него на все? Шантаж так шантаж. Перечить ему сейчас значит испортить эту глупую радость от разоблачительного открытия. Поэтому она спокойно объяснила:

— Но ведь это своего рода шантаж. Он выделит нам

содержание.

Смотрите, как уперся:

– Ты не любишь его.

– Я тебя люблю.

– Дело не в этом. – Он

разволновался, понес чепуху, пробормотал что-то о «детях», окончательно смешался и покраснел. – Я бесплодна, – сказала Кейт. – Напрасно беспокоишься, – и, видя, его замешательство, в сердцах договорила:

– Я их не хочу и никогда не хотела! – Все ее существо тянулось заключить его в себе. – Сколько у тебя предрассудков, Энтони. – Еще она думала: никакой ребенок не даст мне нашей близости, хотя ты всего-

навсего стоишь рядом, краснея, теряясь. Господи, какой неприступный, какая память у нас короткая на то, чего не хочется вспоминать.

— Какая потеря, — сказал он, заглянув ей в глаза; лицо пылает, весь он какой-то детский, сбитый с толку. Она готовилась услышать слова о том, как любят настоящие мужчины. Но они думали о разном. Он не имел в виду ее, говоря о потере: он жалел, что пропадает удачный случай. — Другой такой случай не подвернется. Мы бы слупили с него хорошие деньги и убрались отсюда. Черт возьми, мы бы еще успели на вечерний поезд! Завтра уже в

Гетеборге. В субботу в Лондоне и
прямиком в Туикнем. Кейт, мы бы
еще успели на вечерний поезд! Кейт,
мы бы взяли в «Стоуне» отбивную и
пинту «особого». Мою комнату,
наверное, еще не сдали. Тебя хозяйка
тоже на улице не оставит. Работу
искать не станем, мы свое
заработали. Она зачарованно
смотрела на него. Такое впечатление,
что невозможного для него не
существует, но она-то знала, что на
прямых стальных рельсах, по
которым разлеталась сейчас его
фантазия, в определенном месте
горит негасимый красный фонарь, и
там он неминуемо остановится и сам
все напортит. Он недостаточно

безразличен в средствах для успеха. Ему далеко до Круга.

– Все очень просто, Кейт. Мы это заработали. Если он откажется платить, я передаю все сведения Минти, это окупит хотя бы дорожные расходы, и потом – у тебя должны быть сбережения.

Это интересно. – И ты согласишься жить на мои деньги? – Тут он должен бы остановиться – но нет, он не колеблясь согласился (в конце концов, мы брат и сестра), и она почувствовала усталость путешественника, которого постоянно сбивает с пути неточная карта. Может, она переоценивала наивность этого мягкого, любимого,

бесхитростного ума? С телеграммой в руке Энтони поднялся из-за стола.

– Я пойду к нему.

– Что ты собираешься ему сказать?

– Лучше всего объяснить начистоту.

– Нет-нет, Энтони, – запротестовала Кейт, – я сделала глупость, что не остановила тебя сразу. Ты не должен так грубо шантажировать Эрика. – Но почему? Кейт, ты не видишь собственной выгоды. – Потому, что ты недостаточно умен для этого, Энтони. Если бы у тебя были такие мозги, чтобы шантажировать Эрика, ты бы здесь не оказался. Ах,

Энтони, — с чувством воскликнула она, — какая мы непутевая пара! Как я тебя люблю. Будь ты поумнее и не такой добропорядочный... — и не кончила, потому что вспомнила давнишнее субботнее утро в Тилбери, долгий путь домой, шиллинг в прорези счетчика и маленькое голубое пламя для гренок и чая. Я спасла его от этого, думала она, но он ходит живым напоминанием и не дает забыть милую нехитрую песенку: Энтони спасли от Энтони, но ей без Энтони жизни нет. На окно налетела белая птица, стукнула клювом в стекло и, раскинув крылья, отлетела назад, как от иллюминатора самолета. Здесь у нас обеспеченное

положение, твердила она, как урок, здесь наше будущее, это нужно удержать. Прошлого нет. Мы чересчур зажились в прошлом. – Дай я попробую, – сказал Энтони.

– С ним у тебя ничего не выйдет, – грустно возразила она. – Милый Энтони, ты перед ним сущий младенец. Неужели ты всерьез думаешь, что тебе удастся вывести «Крог» на чистую воду? Ты рта не успеешь раскрыть, как он тебя сотрет в порошок. Он тебя сгноит в тюрьме, он ни перед чем не остановится. Ты нигде не скроешься. И ради чего? Мы и так получили все, что нам нужно, – содержание...

– Он тебе не пара, Кейт, –

упрямо повторил Энтони. Видно, нелегко ему примириться с такими вещами, как «брак без любви», «бездетная жена». Куда легче расстаться с мыслью об удачном случае: он красиво и по-товарищески жертвовал им, только мельком взглянул на ее стол да секунду-другую подумал о подправленных чеках, телеграммах, продаже «Баттерсону». — Ладно, Кейт, пусть будет по-твоему. — В скользнувшей по его лицу улыбке она увидела рождение новой мысли. — Как бы то ни было, такое событие нужно сегодня же отпраздновать.

— Это пока негласно.

— Пустяки. Он обязан устроить

ужин. Вот что, Кейт: позвони администратору отеля в Салтшебадене и закажи столик. Объясни, кто будет. – Эрик не поедет.

– Возил я его в Тиволи – вытащу и в Салтшебаден. И еще: мы можем взять хорошие комиссионные за организацию этого обеда. Запроси сто крон. Кейт подошла к телефону.

– Ты все умеешь предусмотреть, Энтони.

– Погоди. Пусть дадут сто пятьдесят, иначе, скажи, Круг будет обедать в опере.

– Салтшебаден два-три, – сказала Кейт.

Выслушав от соседа новость, молодой Андерссон снял руку с рычага, а ногу с педали кроговского резака. Хлопая кожаным ремнем, машина остановилась; питающий ее подвижный лоток сразу же до краев забило деревом. Что-то прокричал сосед, но молодой Андерссон не слышал его. Он был туповат и медленно реагировал на окружающее. Повернувшись спиной к резаку, он вдоль стаканов направился в раздевалку. На верхнем этаже переполнилась одна из сушильных камер, застопорился ее

лоток; работавшая в соседнем помещении электропила навалила на лоток гору планок, и они стали сыпаться на пол. Однако пыльщик продолжал совать дерево под пилу — в этом состояла его работа, остальное его не касалось, и поэтому в разгрузочной еще не знали, что где-то образовалась пробка. Рабочие продолжали разбирать бревна, поступавшие со двора, где длинной вереницей выстроились грузовики. Молодой Андерссон снял грубые рабочие брюки. С выходом из строя одного станка шума в цеху не убавилось, но, привыкнув к своему резаку, молодой Андерссон умел различать легкое покашливание в его

жалобном стоне, и теперь он его не слышал. На его бледном худом лице сразу выразилось беспокойство: как странно не слышать знакомый звук каждые шесть секунд. Он не мог осмыслить размера учиненного им беспорядка; сушильню он видел, на электропиле работал его приятель, но что там дальше — он совершенно не представлял: ни того, что где-то бревна разгружают, ни того, что их откуда-то привозят грузовики. Через раздевалку в уборную прошел рабочий из его смены. Молодой Андерссон проводил его взглядом: опустив голову, рабочий шел быстрым шагом. Он поднял руку, его подменили у станка; в его

распоряжении четыре минуты; если он задержится, его оштрафуют. Молодой Андерссон снял с вешалки свою куртку, вышел из раздевалки и краем цеха направился к выходу. Вдоль прохода шел смазчик с масленкой; он пускал каплю густого темного масла в специальное отверстие на станке в левом ряду; навстречу с такой же масленкой шел другой смазчик и занимался правым" рядом. Оба настолько хорошо знали свои дырки, что даже не трудились помогать себе глазами: просто шли и сгибали руку в запястье. Левый смазчик поднял глаза на Андерссона; от изумления он замешкался с масленкой, и на блестящем

металлическом полу, точно след лапки, осталось несколько темных пятен; он так и смотрел на Андерссона, пока тот не скрылся за дверью. Андерссон спустился во двор по крутой аварийной лестнице, чтобы не ждать лифта на виду у всех. Ему запомнилось выражение усталости, изумления и зависти, на лице того смазчика. Андерссон пересек двор, направляясь к воротам, где утром и вечером он отмечал свой табель. Вахтер не хотел открывать. — Заболел, — объяснил молодой Андерссон, — заболел. — Не было необходимости притворяться: бледность, привычная сутулость и встревоженный вид говорили в его

пользу. Ворота открылись и выпустили его.

Он не узнал длинной асфальтированной дороги между высокими деревянными заборами: она была безлюдна. Одну сторону улицы накрывала тень; далеко впереди забор кончался, там, облитые солнцем, стояли серебристые березы. Молодой Андерссон бежал по кромке тени. Это несправедливо, изумлялся он, несправедливо. Прежде такие мысли не приходили ему в голову. Молодой Андерссон был человек консервативный. Он читал газеты; верил в великое дело Крога. Отцовский социализм казался ему

устаревшим, скучным, сухим; в нем был привкус вечерних школ, он вроде стариковских поучений — так же далек от жизни. «Справедливая оплата труда», «пролетарская солидарность» — и пошел бубнить, как с церковной кафедры. Для молодого Андерссона это были такие же недоступные разумению истины, как «троичность Бога», «ипостаси святой Троицы».

— Ты что же, ни во что не веришь? — недоумевал отец. — Я верю в свою работу, — отвечал молодой Андерссон. — Дела идут прилично. Платят хорошо. Можно немного откладывать. Когда-нибудь выбьюсь. Задыхаясь, он бежал вдоль забора,

бросавшего на дорогу тень.

— Круг тоже начинал, как мы. Чем мы хуже его? Запахи битума, машинного масла, до деревьев еще далеко, завистливый взгляд смазчика. Это несправедливо, думал молодой Андерссон, несправедливо. Отец писал, что он сам пришел, шутил, угостил сигарой, он даже мной интересовался, обещал, что все наладится. Всего-навсего пару дней назад. Он, конечно, ничего не знает, нужно ему сказать. Он справедливый человек. Молодой Андерссон верил в справедливость. Он видел ее торжество: лодыря увольняют, работягу награждают. Два года назад ему самому повысили заработную

плату.

Он больше не мог бежать, отвык; насколько полезнее для здоровья работа смазчика — тот всю смену только и делает, что ходит. Не видно конца этим заборам. Они длиной почти в полторы мили. Рабочему нужно двадцать минут, чтобы покинуть территорию фабрики. Некоторые доказывали, что это время должны оплачивать. Ведь не их вина, что они не могут жить ближе, и так их дома стоят у самого начала дороги.

Рабочий поселок молодой Андерссон проходил не сбавляя шага. Крепкие, ярко раскрашенные домики, перед каждым палисадник;

некоторые хозяйки разводили цыплят. Молодой Андерссон был холост; он квартировал у рабочего из ночной смены. Жена хозяина как раз ковырялась в грядках, когда он проходил улицей. Она выпрямилась и крикнула ему:

— Что случилось? Куда вы идете? — Он засмутился и встал посреди дороги, ковыряя носком землю. — Не ждите к ужину.

— Неприятности на работе? Куда вы?

Молодой Андерссон покраснел и ковырнул дорогу носком ботинка. Он избегал ее взгляда. В разговоре с ней он всегда краснел и отводил глаза. Он спал в соседней комнате, а

перегородка была тонкая. Он слышал, как она чистит зубы, моется, как ложится к мужу; ему было бы безразлично все это, будь она старая и дурнушка. Но она была молодая и очень хорошенькая. И оттого, что он так много знает про нее, он при ней робел и смущался. — Никаких неприятностей. Просто нужно съездить в Стокгольм. Я вернусь поздно ночью.

Любопытством она не отличалась, а уж его дела ее совсем не интересовали. Она считала его никудышным парнем, обожала мужа, и молодой Андерссон знал это слишком хорошо. Он покраснел, ковырнул носком дорогу и сказал:

— Мне пора.

— Поосторожней там, — безразлично отозвалась женщина и снова принялась копать в земле.

На станции выяснилось, что денег у него только на билет до Стокгольма. Ждать оставалось целых полтора часа. Напрасно, выходит, спешил. Слоняйся теперь по платформе взад и вперед, заняться нечем. Он потрянул автомат — иногда там застревала монета. Постучал по другому. Он перетряс все автоматы, какие были. С последним повезло. Монета стукнула, и молодой Андерссон вытянул ящичек: бумажная салфетка. Задаром и это хорошо, подумал он, кладя салфетку

в карман. По запасному пути тянулся длинный товарный состав с лесом для фабрики. Она хорошенькая, думал он, несправедливо слышать такие вещи, и снова задумался об отце. В его ум закрадывалось предчувствие несправедливости. Он убеждал себя, что герру Кругу ничего не сказали, он все сразу исправит. Шутка, сигара, спросил обо мне. На платформе появился один из управляющих, пришел проводить жену с дочерью. Молодой Андерссон знал его, но тот, понятно, его не знал. В руках он держал коробку шоколадных конфет для жены и букетик цветов для дочери. Молодой Андерссон подошел ближе:

интересно, о чем говорят такие люди, когда они не на работе. Сам он в часы отдыха говорил о деньгах, выпивке и о работе.

— Да, — говорил управляющий, — это будет превосходно. К субботе я освобожусь. Соберемся вчетвером.

— Меня не считайте, — сказала девушка, — я иду на танцы. — Она была очень красивая, с аккуратными ушками, мочки ушей слегка подрумянены.

Молодой Андерссон вспомнил тонкую перегородку и покраснел. Несправедливо. Она шла по платформе, словно на спортивной разминке. Она так легко ступала, точно под шубкой на ней ничего не

было. Казалось, ей решительно безразлично, что она женщина, но за этим безразличием чувствовался надрыв, готовые сорваться нервы. Может быть, она перетренировалась. — Ты слишком увлекаешься танцами, — сказал управляющий. Он спешил и, нервничая, то и дело смотрел на часы. Было видно, что шоколад и цветы ровным счетом ничего не значат, что дочь и жена ему давно безразличны, что он давно играет этот спектакль.

Когда подошел поезд, молодому Андерссону пришлось пройти мимо семейства, направляясь к вагонам третьего класса. Управляющий

поцеловал жену в щеку, с дочерью обменялся рукопожатием. Молодой Андерссон тронул пальцем кепку. Управляющий даже не взглянул в его сторону. Он говорил жене:

— Закажи еще вина. Пригласи их к восьми. Раньше я не доберусь. — Девушка видела жест Андерссона и коротко кивнула в ответ, причем не обидно, не снисходительно, а словно сопернику на гаревой дорожке. Молодой Андерссон устроился в своем скудно обставленном вагоне; поползли назад и пропали станция; управляющий, фабрика, домики рабочих. Окаймленное узкой полоской серебряных берез, разглаженное лучами позднего

солнца, лежало озеро. Зажав руки между колен, молодой Андерссон дергался на каждый рывок и толчок неторопливого пригородного поезда. Он думал: о чем можно говорить с такой?... танцы... слишком увлекается... зимой санки, скрип полозьев, режущих снег на повороте, волшебный свет фонарей, дружеская болтовня в деревенском кабачке, оба озябли, счастливы – весело; он сонно кивнул головой: сколько прекрасного еще будет в жизни. Под спускавшимся серым небом потемнели деревья, в разрывах между ними свинцово поблескивало озеро; кто-то зашел проверить ручки отопления; протяжный свисток

паровоза перед входом в тоннель и уже совсем сумерки за окном, когда тоннель кончился; несколько искр ударилось в стекло. Молодой Андерссон открыл глаза и увидел группу велосипедистов, возвращавшихся с работы домой; на машинах были зажжены фары, а когда поезд обогнал велосипедистов, в темноте рассыпались рубиновые огоньки задних лампочек. Поезд отодвинул озеро с деревьями в сторону, и сумерки разлились вширь и вдаль над полями.

— Вы в город? — спросила пожилая женщина, доставая из корзинки булочку с маслом. Лампы на потолке разгорелись ярче, темнота

за окнами была точно спущенные перед ужином шторы. Общительное, доверчивое чувство овладело пассажирами: хорошо быть вместе, когда снаружи ночь. — В город, — ответил молодой Андерссон.

— А вы работаете? — спросила она, вкладывая ломтик ветчины между половинками булочки.

— Само собой, — с достоинством ответил он. — Я работаю в «Кроге», — и оба посмотрели в окно, радуясь за себя и гордясь: он — «Крогом», она — булочкой. Поезд останавливался на каждом полустанке, и в размякшем вагоне еще прибавлялось теплоты и душевности: огни жилья, женщина хлопчет на кухне, из постельки

тянется посмотреть на поезд
малыш. – Повезло вам, что работаете
в «Кроге», – сказала попутчица. –
Эта работа с будущим.

– С будущим, – согласился
молодой Андерссон и осекся. Он
вспомнил, что ушел, не доработав
смены. На его бледном
невыразительном лице появилось
упрямое выражение: он поступил
правильно. Упрямство держало его
все эти годы привязанным к своему
станку, раз в несколько лет
вознаграждая маленьким
повышением заработной платы, и это
же упрямство заставило его все
бросить, как только он услышал
такую новость об отце. Упрямство

сделало его консерватором,
упрямство питало его веру в
справедливость; упрямство
остановило станок, забило лоток
заготовками, переполнило деревом
сушильню. Все будет хорошо, думал
он, когда я сам им все расскажу. Если
бы я остался разбираться, я бы, чего
доброго, опоздал на поезд. —
Поосторожней там, — сказала
женщина, стряхивая с себя крошки
прямо ему на колени. Что они все
советуют ему быть осторожным? Как
сговорились. Он грустно пояснил:

— Я еду по делу.

— Знаем мы ваши дела, —
отозвалась женщина, доставая из
корзинки бутылку молока, и

сказанные просто, душевным тоном «поосторожней» и «ваши дела» повернулись к молодому Андерссону неожиданной стороной, за которую не приходится краснеть — она светлая, простая и беззаботная; сегодня — одно, завтра — что-нибудь другое. Он сказал:

— Времена меняются. Не вечно так...

— А молодым бываешь только раз, — задорно тряхнув седой головой, сказала его спутница.

Было уже около семи, когда поезд прибыл на Центральный вокзал. Молодой Андерссон не знал, до какого часа работают в «Кроге». Он даже не знал, где это. Пришлось

спросить у полицейского, и тот долго провожал его подозрительным взглядом, ставя ему в вину рабочий костюм, рубашку без воротника, тяжелые ботинки и решительное выражение лица. Вахтер в «Кроге» был непреклонен. — Да кто ты такой? — допытывался он через прутья ворот. — Даже будь он здесь, он тебя не примет.

— Я работаю на фабрике.

— Ну и что? — возмутился вахтер.

— Мне насчет отца, — сказал молодой Андерссон. — Герр Круг знает моего отца.

— Точнее, твою мать, — заржал вахтер, обхватив длинными обезьяньими пальцами железные

прудья. Потом сурово пролаял:

— Нечего тебе тут делать. Сюда таких не пускают. Твое место на фабрике.

— Мне нужно видеть герра Крога.

— Даже премьер-министр приходит к герру Крогу, когда ему назначат.

— Мне тоже назначат.

— А для этого надо попасть к секретарю, — сказал вахтер.

— Пойду к секретарю.

— А секретарь, — хихикнул вахтер, — принимает только тех, кому назначено.

— Мне назначат, — повторил молодой Андерссон. — Зато меня

можешь видеть сколько угодно, — разрешил вахтер, — я принимаю в любой час.

— Герр Круг знает обо мне. Отец мне писал. Он писал, что герр Круг спрашивал про меня.

— Брешет твой отец.

Молодой Андерссон опустил голову. Сжав пальцы, он подошел к воротам ближе. Упрямство, решимость еще не покинули его. — Протри глаза, — учил вахтер. — Все это принадлежит герру Кругу. Сам подумай: какие у него могут быть дела с твоим драгоценным папашей? Оглядись, — повторил вахтер, и Андерссон обвел взглядом горевшие в небе инициалы, стеклянные стены,

зеленую каменную глыбу, по которой шумно струилась вода.

— Этот фонтан, — показал вахтер, — сделал величайший шведский скульптор. Ты не представляешь, во что все это обошлось. Тут на таких тарелках едят — ты за весь год на одну не заработаешь. Он носит брильянтовые запонки.

— Брильянтовые?

— С каждой сорочкой другие.

Старший Андерссон часто заводил разговор о заработной плате, только сын не прислушивался — старые песни. Но сейчас он почувствовал беспокойство; он посмотрел на свои темные от масла

руки, потом на зубоскала вахтера. Он вспомнил рабочего из ночной смены, который сошел с ума и убил жену и себя, потому что та ждала еще одного ребенка. — Какая у вас красивая форма, — сказал молодой Андерссон. — «Дорогая Анна, — написал тот на клочке туалетной бумаги, — прости меня. Я извелся от страха. Ничего не поделаешь. Я был счастлив с тобой. Поблаговари от меня свою сестру за помощь». Убить жену он, видно, надумал позже — чтобы не мучилась без него. Все этому должно быть какое-то объяснение, думал молодой Андерссон, уводя глаза под самую крышу стеклянного здания.

— У меня, видишь ли, ответственная работа, — пояснил вахтер. — Я должен знать, что говорить посетителям. Мне каждые полгода выдают новую пару обуви. В «Кроге» нужно иметь приличный вид.

— Дома у меня есть новый костюм, — сказал молодой Андерссон. — Только я спешил. Мне нужно сказать герру Крогу об отце. — Тогда тебе нужно отправляться в Салтшебаден, — сказал вахтер. — Они все укатили туда ужинать. — Вахтер, видно, решил разделаться с молодым Андерссоном, как с кровным врагом. — Тебе нужен смокинг. — Это далеко?

— Километров двадцать.

— Тогда я пошел, — сказал молодой Андерссон. — Не спеши, — сказал вахтер. — Вполне успеешь переодеться. Поезда идут каждые полчаса.

— У меня нет денег на поезд, — сказал молодой Андерссон. — Я пойду пешком.

— Тогда ты явишься только к полуночи.

— Попрошу кого-нибудь подвезти, — пробормотал он, отходя. Он слышал, как за воротами веселится вахтер, и вера в мужское товарищество заколебалась в нем.

Они не взяли шофера, за руль сел Энтони. Ему и принадлежала эта идея. По шоферу, сказал он, машину сразу опознают. Круг не возражал. Он вообще вел себя образцово во время всей поездки. Когда Энтони останавливал машину около ресторана, Круг пил наравне с ним. Кейт с тревогой следила за ним. Круг с важным видом сидел перед своим стаканом и не произносил ни единого слова.

В третьем ресторане Круг разбил стакан. Энтони только что сказал:

— Завтра мы с Эриком отправимся по магазинам, Надо его одеть. В конце концов, мы теперь почти братья.

До этого она не задумывалась, что Круг уже много выпил. Ведь он ничего не ел днем, все утро ушло на междугородные разговоры. — Походим по магазинам, Эрик? — не отставал Энтони. В ответ Круг высказал пожелание, чтобы их вечер удался. Он благодарен Энтони за вчерашнее. — Еще по одной? — спросил Энтони. Но Круг не кончил свою мысль. — Все утро, — продолжал он, — я работал с удивительно ясной головой, потому что не тревожился за вечер. Порвал билеты на концерт.

Я думал: сегодня нам будет так же хорошо, как вчера в Тиволи. — Он вскинул руку: «Skal!» — стакан выскользнул, рука упала на осколки. — Я думал: пошлем все к черту. — Едем дальше, — скомандовал Энтони, и все трое вернулись в автомобиль. Было уже совсем темно, но сильные фары струили перед собой бледно-зеленый рассвет. Получалась зримая картина времени: день и по обе стороны от него — ночь. В день выскочил из ночи кролик и опять вернулся в ночь, метнувшись вверх по склону холма. И сами они, выходя из ресторана, после навеса с яркими гирляндами лампочек окунулись в ночь и пустились

вдогонку за днем по ровной голубой дороге, отливавшей металлическим блеском. – Ты порезался, – сказала Кейт, но Круг спал, кровь сочилась на сиденье между ним и Энтони.

– Слава богу, – воскликнул Энтони, – хоть раз в жизни повезло вести приличную машину! – Он нажал педаль газа. Чувства скорости у него не было, и автомобиль стремительно разминулся с каменным забором, скользнул мимо освещенного домика, на мгновение залив его зеленым подводным светом, и удивительно было это тускло-призрачное видение, а свет фар уже сунулся под занавески, обшарил сад.

– Эрик порезался.

– Пустяки, – отозвался

Энтони. – Кровь уже не идет. Зачем ты его будишь, Кейт? Так мы будто одни. – Стрелка спидометра дрожала на 170. Энтони напевал:

– Я с тобой, и ты со мной, – они были одни в огромном сером автомобиле.

– Может, оставим его у кого-нибудь? – сказал Энтони. – Пусть наконец проведет интересную ночь. – Он насвистывал меланхолический мотив; из автомобильного чрева тонкий звук струился на дорогу, словно шелковая паучья нить.

– Тогда ты не получишь своих

КОМИССИОННЫХ.

— Верно.

Некоторое время они ехали рядом с железнодорожным полотном; навстречу бесшумно вылетела электричка, вильнула в сторону, полыхнув по рельсам голубой молнией; впереди помигивал красный свет фонаря. За возвышением светлело небо, хотя для их фар это было далеко, и действительно: когда дорога свернула, они увидели два подъемных крана по обе стороны полотна и огромную ферму трехпролетного моста через пути. Рабочую площадку освещали дуговые лампы; на перекрытиях, свесив ноги,

сидели рабочие и затягивали гайки. В тридцати футах под ними на земле валялись ломы, винты, ржавые кронштейны. Энтони притормозил, и Круг проснулся. — Остановитесь, — сказал он. — Это новый мост. Хочу посмотреть.

Среди наваленного железа осторожно пробирался коренастый человек в потрепанном коричневом костюме и с перебитым носом. — Кронштейны 145, 141 и 137, — крикнул он; рабочий бросил сверху конец веревки и, перебирая руками, спустился вниз.

Подъемный кран качнулся, в клубах пара повис захват, и рабочий стал грузить заржавленные

металлические прямоугольники. Раскачиваясь, связка повисла над автомобилем Крога.

— Они еще пользуются английскими кронштейнами, — сказал Крог. — Видите марку? Чепстоу.

Люди работали спокойно, без спешки, тихо переговариваясь. Их связывали веревки, стальные перекладины, общая задача; за шеренгой дуговых прожекторов тускло светились фары серого автомобиля. Энтони выключил двигатель, и в машине сразу похолодало. Их не замечали, их присутствие никому не мешало. — Подойди на минутку, Эрик, — позвал

мастер; рабочий в рваных штанах шагнул с ним в темноту за прожекторами, и, перебирая болты, они принялись что-то разыскивать в железной свалке. — Какие, ты сказал, кронштейны? — крикнул рабочий с дальней перекладины. — 145, 141 и 137, — ответил мастер. — Подними зад, там же написано, — и все добродушно рассмеялись, празднуя свою сплоченность против холода, темноты и смерти, которая таилась в упавшем болте, в ржавом металле, в перетершейся веревке.

— Я когда-то сам работал на мосту, — сказал Крог и открыл дверцу. — Хочу поговорить с мастером. — И неуклюже застыл у

автомобиля — в вечернем костюме, с меховым пальто на руке. — Мой мост был побольше этого, — обронил он.

— Помоги мне тут, Эрик, — проходя перед машиной, сказал мастер; карманы его жилета распухли от бумаг. Он сдвинул назад мягкую шляпу, открыв запачканный лоб, и высморкался. — Куда ты девал пятьдесят седьмые болты? — Не пятьдесят седьмые. Сорок третьи, ты хочешь сказать, — возразил рабочий.

Мастер вынул из нагрудного кармана бумажку.

— Ошибаешься. Как раз пятьдесят седьмые.

— Так эти там.

Шагая по шпалам, мастер

направился в сторону Круга. Во рту у него была сигарета. Он шарил глазами по сторонам и в ярком свете ламп казался маленьким и щуплым. За ним неотступно следовал рабочий в рваных серых штанах, а с фермы подсказывали, что болты не там, а подальше, еще немного пройти.

— Дай спичку, друг. — Круг переложил пальто на другую руку и ощупал карманы белого жилета. — Простите, — сказал он, — кажется, я... — Возьми, — сказал задний рабочий. — Лови. — Мастер поймал коробку, зажег спичку, оберегая огонь в сложенных ладонях. В ночной темноте яркие прожекторы крупным планом выхватили его руки: тупые,

искривленные ревматизмом пальцы, на левой руке одного недостает. К таким рукам полагалось иметь не моложавую замызганную физиономию с перебитым носом, а что-нибудь жестче, старше и суше.

– Добрый вечер, – сказал Круг.

– Добрый вечер, – обронил мастер, продолжая с напарником искать пятьдесят седьмые болты.

Круг вернулся к машине, вошел и сел. – Я содрал руку, – сказал он. – Поедем дальше. Маленький все-таки мост. – Топыря белый галстук, он глубоко уселся рядом с Энтони. – Они работают ночью из-за поездов, – объяснил он. – Кронштейны у них те же, из Чепстоу. Как мало все

меняется. – Но сам он переменился, думала Кейт. Ее расстроила эта сцена: и как его захватила работа, и как не оказалось спичек, когда попросили, и как не нашлось слов объясниться. Они медленно объехали рабочую площадку, но Круг не оглянулся: там все по-старому, а он давно другой.

– Продолжим семейный вечер, – объявил Энтони.

Кейт рассмеялась. – Совершенно верно, – сказала она, – семейный вечер. Такая же зеленая скука. – Она думала: он наш, он вроде нас ищет для себя прочного положения, он никакое не будущее и сам по себе ничего особенного, он в точности,

как все мы, и тоже не на своем месте. — Ну, держись! — выжав до предела газ, Энтони чуть не вскинул автомобиль на дымы. — Гулять так гулять. Скучный вечер, говоришь? Ты еще не знаешь, какой я заказал ужин.

— Это, наверное, когда я стакан разбил, — сказал Круг, осторожно трогая ладонь.

Кейт склонилась над его плечом (у нас семейный вечер, он такой же, как все мы, я им пользовалась, теперь он мною пользуется, а вообще он наш, тоже из последних сил цепляется) и попросила:

— Милый, покажи мне руку. — Она разорвала носовой платок, вымазала его кольд-кремом. Потом

бережно подняла его руку,
приложила к ней платок — бедный,
как долго он шел, как он устал, а они
его не замечали, не желали признать
своим, унизили. Она крепко
перевязала ему руку и обняла за шею:
семейный вечер, не грех побыть и
доброй, теперь мы все трое связаны
одной веревочкой, свой своего не
выдаст.

Подминая под себя воздух,
самолет датской королевской

компании оторвался от земли; в окошко было видно, как огромное резиновое колесо дважды подскочило на косматой траве и неподвижно повисло над ярким, сверкающим зданием аэровокзала, над белыми крышами; словно пуговицы на светло-зеленом пиджаке, выстроились неподалеку от моря нефтяные цистерны. Фред Холл запихал в уши вату, летчик сменил фуражку с золотым шитьем на маленькую черную пилотку. Все это напоминало приготовления к какому-то важному делу. Дверь в летную кабину была открыта. На уровне глаз пассажира виднелись ноги пилота, еще выше — голубая

полусфера безоблачного неба. Воздушные потоки разом поднимали самолет на пятьдесят футов, словно толчком гигантского кулака. Фред Холл раскрыл «Bagatelle» «"Мелочи" (фр.)». Внизу неторопливым червяком уползал Зюдер-Зее; скорости не чувствовалось; залив казался серой лужей в чернильных пятнах, и только какой-то островок сиротливо белел в этом унылом киселе. Самолет набирал высоту. С подъемом теплело, солнце лезло в окна, Фред Холл снял пальто, аккуратно сложил его. Пальто было коричневое, с бархатными лацканами. Узкое загорелое лицо, часовая цепочка с брелком,

серебряные браслеты, подбиравшие рукава сорочки, делали Фреда похожим на преуспевающего маклера.

Самолет вошел в облака; море пропало, только изредка проглядывало внизу что-то похожее на озеро в Альпах. «Pilules Orientates» «"Восточные пилюли" (фр.)», прочел Фред Холл, просматривая рекламы. На высоте 1200 метров они попали в грозу, струи дождя, точно стрелы, протянулись параллельно самолету; через полминуты буря отстала, облака расступились, и, внизу почти плашмя легла радуга; она долго провожала самолет, скрывая под

своими блеклыми красками целую
деревню. «La Timidite est vaincue en
quelques jours» «"За несколько дней
преодолеваем застенчивость"
(фр.)», — бесконечно поражаясь,
читал Холл. Просто не верилось, что
целые отрасли промышленности
работают исключительно на баб —
художественная фотография, эти
восточные пилюли, стимулирующие
средства. Опять вокруг сгустились
облака; самолет словно попал в
плотный снегопад. Сверкающий,
искристый свет лег на страницы
«Bagatelle», но самолет поднялся на
высоту 1800 метров, и облака
остались внизу; их слепящая белизна
разлилась до самого горизонта, и

ощущение полета пропало; огромное резиновое колесо и тяжелое крыло чуть Подрагивали над бескрайней застывшей равниной. Фред Холл расстегнул жилет — очень донимало солнце; под жилетом была полосатая сорочка. «L'Amour au Zoo», «L'Amour au Djebel-Drusc», «Amours et hantises d'Edgar Poe», «La Dame de Coeur» ["Любовь в зоопарке", «Любовь в Джэбсл-Дрю», «Любовь и наваждение в жизни Эдгара По», «Дама сердца» (фр.)]. Сколько шуму из-за баб, подумал Фред Холл, жестом загрузившего моралиста опуская журнал на колени. 2700 метров, машинально отметил он, ощупал правый карман, вспомнил,

что он в пальто, и только тогда успокоился. Надо быть ко всему готовым. В Амстердаме пронесло, осталось подготовить отчет, и все-таки спокойнее, когда с тобой кастет. Если из тебя не вышел хороший боксер, то умей устраиваться иначе.

Самолет накренился, колени Холла уперлись в спинку переднего кресла: трясясь, как на ухабах, самолет наискось рассекал толщу облаков, пока не показалась земля. До самого горизонта протянулись клеточки полей, точно окна лежащего навзничь небоскреба. Самолет несся прямо на какую-то тонкую мачту, торчавшую вертикально, и вот она упала: это

была дорога. Радист, определяя направление ветра, спускал через отверстие в полу нагруженный шнур. Казалось, они застыли на месте: чуть не целую минуту мозолил глаза хуторок, строгий квадрат белых строений под соломенными крышами. Уточнив курс, самолет набрал высоту и снова потерялся в облаках. Фред Холл заснул. Раскрылся рот, показав черный сломанный зуб; вздрагивал никелированный клубный медальон, когда встречный ветер ударял в самолет, — вид Фреда Холла воскрешал обстановку пульмановского третьего класса: воскресная поездка в Брайтон, виски

с содовой, крашеная блондинка. Мягкая коричневая шляпа соскользнула на лоб, и во сне Фреду Холлу показалось, что его гладят по голове. Он кашлянул и громко сказал:

— Элси. — Ему снилось, что Крог хочет ему что-то сказать, но тут встречается Элси, отвлекает, гонит в ванну. А Крог стоит под окном и что-то кричит. — Ты забыл мочалку, — говорит Элси и добавляет, что «Лайфбой» плохо мылится. Она никак не могла понять, что ему не хочется лезть в ванну, а хочется поговорить с Крогом. Раскачиваясь в лад с бурей, свирепствовавшей над Данией, Фред Холл крикнул вслух:

— Я не люблю ароматические

ванны! — Самолет скандинавской авиалинии забирался все выше, уходя от грозы. 3200 метров. — Бабы, — выругался Фред Холл и проснулся. Спросонья он не сразу понял, откуда эта болтанка и рев моторов. Сзади клубился ливень. И снова чистое небо и месиво облаков между самолетом и землей. Он снова закрыл глаза. Перелет из Амстердама потерял для него всякий интерес. Европейские аэропорты он знал так же хорошо, как в свое время знал все станции на брайтонском направлении. Неопрятный Ле-Бурже; алый прямоугольник Темпльхофа, когда в сумерках едешь из Лондона, поливая светом фар

асфальтированное шоссе; вихри
белого песка вокруг ангара в
Таллинне; аэропорт в Риге, где
делает посадку самолет «Берлин —
Ленинград» и в здании под жестяной
крышей продают ярко-розовую
газировку; громадный аэродром в
Москве, на котором машины стоят
гуськом и, ища, где приткнуться,
летчики по указке регулировщика в
лихо заломленной фуражке крутятся
по полю, вылезая вперед и пятясь;
аэродром на краю обрыва в
Копенгагене. Удобное и скучное
средство передвижения — временами
Фред Холл тосковал по
брайтонскому пульману, где
случайный попутчик может

сообщить дельные сведения о предстоящих бегах.

Проснувшись во второй раз, он пробрался в уборную и тайком выкурил сигарету (в самолетах скандинавской авиалинии курить не разрешалось); примостившись на судне, он пускал кольца едкого дыма. Смешная поза придавала ему выражение полнейшего наплевательства; повиноваться человеку, который ему платил, хранить верность тому, кого он обожал, и удовлетворять известные слабости, как-то: выкурить сигарету, раз в месяц напиться и, наконец, по его собственному выражению, «разрядиться» — вот все, что

умещалось в его плоском и узком черепе. Как раз сейчас ему хотелось «разрядиться»; ему было страшно вспомнить, какими деньгами он ворочал в Амстердаме. А ведь они начинали вместе, он и Крог. Пожалуй, он был единственным человеком, который мог оценить путь Крога от тесной квартирки в Барселоне до дворца в Стокгольме. Покуривая на стульчике, Фред Холл не удивлялся такой карьере, но с любовью, подобно любви к женщине, выражавшейся в безвкусных подарках (в заднем кармане у него лежали брильянтовые запонки), думал: «Я всегда знал, что у парня есть голова на плечах». Он поболтал ногами и

одно за другим выпустил несколько идеальных колечек, поставив на карту жизнь двенадцати пассажиров, пилота, радиста и несколько тысяч фунтов багажа. Впрочем, такие мелочи не тревожили Фреда Холла.

А тревожил его Лаурин и то, что Лаурин директор. Он с ним встречался и составил о нем самое невыгодное мнение; сам того не подозревая, он судил о людях по внешности (еще вопрос, стал бы он думать, что у Крога есть голова на плечах, будь эти плечи чуть поуже) — а Лаурин вечно болел. И первое время Фред Холл просто сходил с ума от зависти: как-никак он старый приятель Крога, он ни разу его не

подвел, но директор кто-то другой, а он только человек, на которого Круг может положиться как на самого себя. Платили ему не меньше, чем Лаурину или другим директорам, но иногда Фреду Холлу до смерти хотелось увидеть свое имя в печати. Он не замахивался ни на что особенное, не помышлял, к примеру, сидеть директором в ИГС, но можно бы ввести его в правление какого-нибудь филиала вроде амстердамского.

Он растер ногами окурок и встал. Нет, он не доверял Лаурину и никому из окружения Круга, исключая себя самого, и сейчас ему хотелось «разрядиться», хорошенько

вздуть кого-нибудь. С пронзительной нежностью он вспомнил утренний телефонный разговор с Крогом. — Фред, — сказал тот, совсем как в добрые старые времена, когда они еще не были друг для друга хозяином и подчиненным; велел возвращаться, как только уладятся дела, потому что он может понадобится. Расставив ноги, Фред Холл раскачивался в уборной; в ноги ему передавались толчки воздушных потоков и дрожь напряженно работающего двигателя. Ну погоди, думал Фред Холл, если кто-то в самом деле портит кровь мистеру Крогу, то я устрою себе такую разрядку, что не приведи Господь. Он не доверял Лаурину, он

даже Кейт не доверял. Не нашей она породы, думал он. Баба, и живет с Крогом только из-за денег, в этом он совершенно не сомневался. Его не смущало, что сам он получает три тысячи фунтов в год: деньги не главное, он, например, не задумываясь истратил двухнедельный заработок на вещицу для Крога, которую будет дарить в ужасном замешательстве; буквально навязывать, если Крог откажется, будет объяснять, что вообще-то он купил ее для одного человека, а тому она не нужна, и надо куда-то девать вещь. Такие приличные запонки, не выбрасывать же.

Он вразвалку направился к

своему креслу; кривоватые ноги увеличивали его сходство с завсегдатаем скачек. Его разбирали тревога и нетерпение. Из Амстердама он вылетел в 12:30. Продажу акций удалось остановить, цена даже немного подскочила, и из своих источников он узнал, что закулисных сделок не ожидается. Он рассчитывал попасть на ночной поезд из Мальме в Стокгольм. Но сейчас ему уже хотелось застать Круга на ногах. В Копенгаген самолет прилетает в 5:25, в Мальме – в 5:40. Он решил, что раз Круг велел возвращаться сразу по окончании дел в Амстердаме, то стоимость авиатакси можно будет поставить в

счет компании.

Радист нацепил наушники, пилот надел фуражку с золотым шитьем, моторы замолкли, и через вату в ушах тишина сдавила барабанные перепонки. Прорезая толстый слой облаков, самолет спускался к темно-зеленому морю, к сверканию вечерних огней на водной ряби, к желтому пятну посадочного поля на плоской вершине утеса. Дания была похожа на искромсанную и в беспорядке перетасованную картинку. Опустив нос, самолет описал широкий круг над морем, утесом, опять над морем, потом выравнился, сбрасывая сопротивление ветра, включил

двигатели и поднялся чуть выше, пошел на посадку, коснулся блеклой травы и подскочил, дал «козла» и замер. Десять минут в Копенгагене показались Фреду Холлу целым часом, он буквально рвал и метал, вразвалку вышагивая по летному полю.

В Мальме снова задержка – в порту ни одного свободного гидросамолета; сказали, что вызовут из Стокгольма, надо ждать. Он прошел в буфет и взял несколько пирожных с кремом и чашку крепкого кофе с каплей коньяку. Море потемнело, на стенах зажглись фонари. От нечего делать Фред Холл стал писать матери в

Доркинг. Он достал химический карандаш, вырвал листок из блокнота.

«Дорогая мама, — писал он, — я возвращаюсь на пару дней в Стокгольм. В Амстердаме видел Джека, но поговорить не удалось. Как наша кошка — еще не окотилась? Не мучайся приучать ее к этому ящику: если ей хочется котиться в уборной, она все равно сделает по-своему. На Рождество надеюсь выбраться к тебе на несколько дней. Дела идут превосходно. На твоём месте я бы попридержал акции еще неделю-другую. Когда нужно, я тебе телеграфирую. Ты поставила пять фунтов на Серую Леди, как я

советовал? Не слушай священника, я с ним сам переговорю на Рождество, долго будет помнить. Я таких людей не выношу. Будь я посвободнее, я бы сейчас приехал и как следует разрядился». Поверх изуродованных пирожных (он съедал только крем) Холл бросил беспокойный взгляд на пустое синее небо, посмотрел на часы и продолжал писать, свирепея от мысли, что время уходит даром; зажгли свет, он заиграл на стеклах буфетной стойки, раскололся в зеркалах. «Не понимаю, кто тянул священника за язык. Лихорадка на бирже — дело обычное». Он отложил карандаш в сторону. С неба упал свет, по воде скользнула тень. Он взял

чемодан и направился к выходу. — Как же вы говорили, что в порту нет ни одного гидроплана? — спросил он дежурного в мундире с галунами (внизу хлюпала вода). — А это? — Он ткнул рукой в сторону зеленого фонаря, который приближался, прыгая на волнах как поплавок. — Ваш будет позже, — ответил чиновник. Отвернувшись, он что-то прокричал, но Фред Холл схватил его за локоть и повернул к себе. — Я полечу на этом, — сказал Холл. — Понятно? На этом. Я спешу. — Это невозможно. Его заказал «Крог». Летит какой-то директор. — И Фред Холл увидел степенную процессию, подходившую к лестнице: двух лакеев

в черных пальто с чемоданами в руках, худощавую пожилую даму с густо накрашенным морщинистым лицом, зябко кутающуюся в меха, администратора станции гидросамолетов, повторявшего на ходу:

— Герр Бергстен... герр Бергстен, — и, наконец, самого директора с усталым скучающим взглядом, замотавшего шелковым кашне сморщенную шею. — Благодарю, благодарю, — бубнил он, опираясь на руку администратора и нащупывая ступеньки блестящими лакированными туфлями; дежурный приложил пальцы к козырьку, Фред Холл отступил, распаляемый

завистью; старое чучело, как с королем обращаются, директор Бергстен, он обо мне даже не слышал, не знает про вечера в Барселоне, когда я платил за выпивку; обижаясь и обожая, он думал: Эрик не может на них положиться, он им платит, дает известность, но когда нужно что-то сделать — он доверяет только Фреду Холлу. — Ваш самолет будет через полчаса, — сказал дежурный, обернулся, не получив ответа, и поразился, с какой стремительностью метнулся от него в темноту этот злющий скелет.

За широкими окнами отеля лежала темная полоска моря, она плавно скользила, переливая огни маленького частного катера, на котором спешили к домашнему очагу какие-то бизнесмены.

– Все-таки это его праздник, а не твой, – говорила Кейт, танцуя с Энтони. Прошли годы с того времени, как они последний раз танцевали вместе. Слаженная точность движений была, как общее детство; они несли в объятьях Морнингтон-Креснт, отцовское порицание, тесную прихожую с

цветными стеклами.

– Не важно, раз он все равно на тебе женится, – и, слившись под приглушенные пьянящие звуки, они возвращались друг к другу издалека. Кейт возразила:

– Это ничего не изменит, – коснулась его щеки, слышала:

– Он тебя не стоит, – уловила в голосе ревнивые нотки; ясно, у него это несерьезно – с Лу.

– Господи, твоя воля, – воскликнул Энтони, – да это наш профессор! – Музыка смолкла. Она захлопала в ладоши, требуя продолжения, от него пахло вином, руки его были влажны, он весь дышал такой свободой, какая ей и не

снилась: он ничем не чувствовал себя связанным — за него всегда похлопочут другие. Они вернулись к столику, Энтони был навеселе и насвистывал фронтовую песенку о девушке, которую когда-то где-то пел отставникам хриплый граммофон; как и его жаргон, любимые песенки у него не отличались новизной; он жил жизнью старшего поколения, на скорую руку, по-отпускному устраивая свои романы. «Если я люблю, если любишь ты...» — Эх, сюда бы Лу, — вздохнул он.

— Неужели это Хаммарстен? — спросил Эрик.

У третьего от них зеркала, за корзинами цветов восседал

профессор с миниатюрной и очень светлой блондинкой на коленях; он уронил очки ей на платье и сейчас был занят их поисками; блондинка ерзала и смеялась. Высокая красивая брюнетка с белым трагическим лицом стучала бокалом по столу, твердила, что ей противно и эту роль она не возьмет; упав грудью на стол и уткнувшись лицом в тарелку, спал бледный, заморенный, мужчина. Для него праздник кончился на супе.

— Он подбирает актеров, — сказала Кейт.

Эрик Крог захохотал. Все взгляды обратились к нему. Из-за пальм вышел администратор и, повернувшись к оркестру, облегченно

захлопал в ладоши; он добрых полчаса гадал в своем укрытии, удался вечер или нет; засуетились официанты, подливая в бокалы; скованность пропала. Хаммарстен их тоже заметил; он нашел свои очки и, словно бокал рейнвейна выплеснув на пол блондинку в бледно-желтом платье, неверной походкой направился к ним, осовелый и какой-то жеваный в своих тесных черных брюках и фраке. За ним потянулись обе его дамы, оставив бледнолицего плавать в супе. — Присаживайтесь, профессор, — пригласила Кейт. — Вы подбираете трупку? — Странная затея, — сказала трагическая брюнетка. — Там есть сцена в

публичном доме. — Похоже, она прибегла к английскому языку только затем, чтобы не оскорблять шведского.

— Потрясающе, — заметил Энтони.

— Если тебе не подходит роль, тогда я возьму, — сказала миниатюрная блондинка. — Правда, профессор?

— Твое место в кордебалете.

— Правильно, у меня красивые ноги. А ты только испортишь сцену в публичном доме.

— Леди, — произнес профессор, — леди, — и уронил очки на колени брюнетки.

— А вы нашли этого... как его...

друида? – спросил Энтони.

– Гауэр, – подсказал профессор. – Где Гауэр?

– Он спит в супе, – ответила блондинка. – Не тревожьте его, дорогой.

– Мне кажется, вы отлично справитесь, – сказал Энтони. – Что значит – справлюсь? – спросила блондинка по-английски с американским акцентом.

– С этой сценой в публичном доме.

Совершенно неожиданно заговорила по-французски брюнетка; собрание приобрело вид переругавшейся международной конференции по разоружению. –

Давайте пройдемся, — предложил
Энтони. — Душно. — Что значит —
душно? — оскорбилась блондинка.
Она что-то сказала профессору по-
шведски, тот из вежливости перед
англичанами ответил по-английски.
Стал превозносить заслуги Крога,
говорил о памятнике рядом с
памятником Густаву и тоже лицом в
сторону России. — В сторону
России, — повторил он со значением,
заговорщицки кивнув Крогу. Всех
будоражила доступность Крога,
вокруг него шла возбужденная суета,
его присутствие сообщило вечеру
привкус опасности — так дети суют
палец в клетку, где дремлет свирепая
птица. Их опьяняла

головокружительная смелость, они ждали, когда он цапнет их за палец.

Но Круг безмятежно улыбался. Столько лет следить за каждым шагом, думал он, таскаться на концерты, в оперу, на приемы. — Еще коньяку, — бросил он официанту.

— Une bouteille! — машинально повторил Энтони, и Трагическая брюнетка тотчас наказала его потоком французской речи. Он разобрал только несколько раз повторенные «Academic Francaise» и «сочонс» «"Французская Академия", „свиньи“ (фр.)».

— Вы француженка? — спросил он.

— Это она-то? — встряла

блондинка. — Не смешите меня.

— А вы — американка?

— Американка! — не осталась в долгу брюнетка. — Она дальше острова Эллис не выбиралась никуда.

— Здесь душно. Давайте пройдемся.

— Выпейте коньяку.

— Завтра мы начинаем репетировать. Где Гауэр?

— Между прочим, они собираются пожениться.

— Не смешите меня.

— Сцена в публичном доме.

Немыслимо.

— А я согласна взять роль.

— Жалкая статистка.

— Здесь душно.

– Что значит – душно?

– Вам нужна профессиональная драматическая актриса, дорогой профессор.

– Тоже мне – профессионалка.

– Где мои очки?

– Где Гауэр?

– Где коньяк?

– Не щекотите, профессор.

– Там должен стоять памятник.

И он будет стоять.

– Это секрет. Никому не говорите. Они хотят пожениться.

– Энтони, не трепи языком. Ты пьян.

– Лицом в сторону России.

– Это лучшая пьеса величайшего драматурга.

– В дивном переводе, дорогой профессор.

– Смех ее слушать.

– Возьмите ваши очки.

Из рощи старый Гауэр сам,
Плоть обретя, явился к вам.

– Профессор, зачем вам эта пьяная свинья, почему вам самому не сыграть эту роль?

– Давайте пройдемся.

– Где коньяк?

– Великим рвением горя.

– Вы ее приглашайте. Это ей жарко. Вон как потеет.

– Я не хочу ее. Я хочу вас.

– Спасибо, учту. Отпустите меня. Я хочу поговорить с герром Крогом.

– Слушай, Кейт, у меня приличная работа, как ты считаешь?

– Энтони, уймись.

– Позвольте, я вам погадаю, герр Крог. О, какая длинная и четкая линия жизни. Вы женитесь, у вас будет трое, четверо, пятеро детишек. – Черта с два.

– Энтони, уймись.

– Ах, боже, я совсем забыла, вы должны посеребрить руку. Правда, серебряных денег сейчас уже нет, но,

я думаю, сойдет никелевая монетка
или бумажка. На счастье. Я потом
верну, если хотите.

Царь-отец, греховный пыл
К ней ощутив, ее склонил
На мерзкий грех
кровосмешенья.

— Честно говоря, я не понимаю,
чем она прельстила профессора. По-
моему, вульгарная пьеса.

— Смотрите, смотрите, что мне
дал герр Круг! Правда, здорово? —

Вульгарная девчонка. Только чтобы спасти от нее пьесу профессора, я возьмусь играть Марину. Ах, профессор, вы опять уронили очки. Нет-нет, дайте уж я сама найду.

— А еще меня называет вульгарной.

— Давайте пройдемся. Жарко.

— Действительно, самое время уйти. Нахалка.

— Что худшее нам может угрожать?

— Всю пьесу на память!

— Официант, еще бутылку коньяку.

— Я ненадолго, Кейт.

— Не болтай лишнего, Энтони. Придержи язык, я тебя очень прошу.

– Я буду нем как рыба.

Без отпеванья гроб твой опущу я
В пучину.

– Там что, кто-то тонет?

И накопленье праздное
сокровищ – Глупцам на радость,
смерти на забаву.

– Он такой умница, с ним будет одно удовольствие работать.

– Идемте. Ненавижу, когда говорят про утопленников.

– Я слышала, это самая хорошая смерть.

– Какая же здесь духота! Пошли.

– Будто бы вся жизнь проходит перед глазами. В один миг. Они шли под залитыми светом безжизненными деревьями; высокие каблуки скользили по листьям, и это металлическое царапанье звучало жалобой на ветер и темноту; Энтони поцеловал готовно подставленные губы; где-то далеко внизу билось море в неровный берег. – Смотрите,

как свежа она, — доносился из широких окон пьяный и прерывающийся от волнения голос профессора. — Ужасно, что в море бросили ее!

— Какая у вас мокрая пьеса, — сказал Энтони. — Море. Пучина.

— Я люблю море, — объявила блондинка голосом Гарбо. — Хотите, возьмем лодку, — неохотно предложил Энтони: «спит на дне морском», вся жизнь проносится перед глазами, самая легкая смерть. — У меня неподходящие туфли, дорогой. Как вас зовут, милый?

— Энтони.

Нагнувшись поцеловать ее, он испытал такое ощущение, словно

погрузил лицо в связку шпагата; она запустила ему в волосы пальцы, пахнувшие леденцами; у нее был душистый, эластичный, ухоженный рот. — Это ваша сестра? — спросила она.

— Да.

— Не правда. Вы в нее влюблены.

— Да.

— Гадкий мальчик. — Она лизнула его подбородок. — Милый, надо бриться, — лизнула еще и еще раз, словно машинально чиркая спичкой по наждачной бумаге. «На мерзкий грех», подумал он, профессор пугает смертью в морской пучине, ллойдовский регистр, фотография матери, которой он не знал, на

чердаке в чемодане, лицом книзу; Кейт. Он вытянул руку, нащупывая в темноте блондинку; на крутой тропинке она стояла чуть выше его; рука коснулась шелка и поползла вверх, где кончалось платье. Что это – пьяная грусть или трезвая тоска? – Там кто-то стоит на дороге, – сказал он. Блондинка дернулась вперед, вскрикнула, Энтони поскользнулся, поймал ее, опять поскользнулся и, удерживая равновесие, ушел пятками в землю. – Тут обрыв, – сказал он, – вы меня чуть не сбросили вниз. – Кто там?

– Откуда я знаю?

Они выбрались наверх к
освещенным окнам на

противоположной стороне отеля, где в беспорядке громоздились столы, тянулась балюстрада, сухо шуршали листья.

— Никого нет.

— Он идет впереди нас. Вон.

Блондинка снова вскрикнула, на этот раз ради эффекта; она играла драматическую сцену; застывшая в ужасе женщина, раскинутые руки, запрокинутое блестящее лицо; в воздухе запахло леденцами и сладкой парфюмерией. — Спрошу, что ему нужно, — сказал Энтони. — Farval, — переходя на шведский язык, хриплым от волнения голосом произнесла блондинка и вынула губную помаду. Обойдя отель кругом, Энтони вышел

на дорогу. — Что вам нужно? — Сейчас человек стоял на свету. Он обратился к Энтони растерянное перепачканное лицо и остановился. Он был моложе Энтони, в рубашке без воротника, на ногах тяжелые ботинки, держался он застенчиво. — Что вам нужно? — повторил Энтони. Пока они сидели в ресторане, на улице прошел дождь. Энтони не стал подходить ближе. Человек промок до нитки; на одном ботинке отстала и хлюпала при ходьбе подошва.

— Forlat mig, — сказал молодой человек. Он перевел взгляд на влажно блестящие туфли Энтони, потом на его белый галстук. Казалось, окружающее окончательно

сбило его с толку — эта залитая светом дорога, целующаяся в темноте пара, блондинка у балюстрады, эти вечерние туфли и крахмальная сорочка; он как будто ожидал чего-то другого, он словно забрел в чужую компанию.

— Вы говорите по-английски? — Тот затряс головой и принялся объяснять по-шведски что-то важное и срочное. — Нючепинг, — уловил Энтони, — герр Крог.

Из темноты появилось бледно-желтое платье. — Что он говорит? — Но молодой человек уже замолчал.

— Милый, у тебя здесь есть автомобиль?

— Крога.

– Давай его найдем и немного посидим.

Увидев, что они уходят, молодой человек снова заговорил о чем-то своем.

– Послушайте, в чем дело? – спросил Энтони.

– Он хочет видеть герра Крога. Что-то насчет отца. Его уволили. Но отец знает герра Крога. Только при чем здесь мы? – Словно дорожные знаки, в ее речи мелькали акценты – американский, английский, вот возник обаятельный шведский:

– Милый Энтони, он просто зануда. – Освещенная прожекторами, отражаясь в лужах, она являла интернациональное воплощение;

плохонькие столичные трупы наградили ее великим множеством акцентов, не оставив ни единого следа национальной принадлежности. — Говорит, что его фамилия Андерссон.

— Неприятности? — Зато Андерссон был вполне национален — тяжелый, открытый, не знающий других языков, кроме родного, и что-то вроде симпатии возникло между мужчинами, словно каждый признал в другом неудачника в чуждом мире.

— Так пусть войдет и сам ему все расскажет.

— С ума сошел! — ахнула блондинка. — Герр Крог близко не подпускает к себе такую публику.

– По-моему, он выглядит вполне прилично.

– Пойдем в машину, дорогой, а то скучно. – Как и полагается шикарной шлюхе, она презирала рабочих, была реакционна в самом точном смысле: у нее все устроилось, и она не желала оглядываться назад. Молодой человек терпеливо ждал окончания их переговоров.

– Иди и жди в машине, – сказал Энтони, – а я сбегаяю и скажу Крогу.

– Что тебе дался этот урод?

– Я знаю, что значит вылететь с работы, – ответил Энтони.

– Он не вылетел. Он говорит, что работает в «Кроге». – В общем, ничего страшного, если Круг в кои-то

веки поговорит со своим рабочим, – взорвался Энтони. – Парень насквозь промок. Нельзя же его здесь бросить! – И сделав Андерссону знак рукой, он заспешил к стеклянной двери. Тот пошел за ним, еле волоча ноги от усталости. Столб света в центре вестибюля, стены мягкого тона, глубокие квадратные кресла, звуки музыки из ресторана – все это безжалостно обступило замызганного усталого человека в тяжелых ботинках, выставя его странным экспонатом, пугалом, попавшим сюда по прихоти злого шутника.

– Теперь ваша очередь рассказать нам что-нибудь, герр

Крог, – попросила трагическая женщина. Кроме Кейт, внимательно следившей за Крогом, все ели сырны крекеры из банки.

Крог рассмеялся, погладил лысый пергаментный череп. – Мне... нечего рассказать.

– Чтобы в такой романтической жизни, как ваша...

– Я расскажу, – объявил Хаммарстен.

Трагическая женщина разрывалась на части, желая удержать обоих. – Дорогой профессор, потерпите минутку... Ваша Марина будет в восторге от рассказа, но сначала...

– Я знаю рассказ о трех

мужчинах из Чикаго, которые ходили в публичный дом, — сказал Круг. — Пойдите. Надо вспомнить. Столько лет... — Эрик, — окликнул его Энтони, — вас хочет видеть один человек. Его зовут Андерссон. Говорит, что работает у вас. — Как пустили сюда этого старика? — возмутился Круг. — Я не желаю, чтобы мне мешали. Велите ему сейчас же уйти.

— Он не старик. Он говорит, что вы знаете его отца. Что отца уволили. — Это не тот человек, к которому ты на днях ездил, Эрик? — спросила Кейт. — Которому ты обещал...

— Согрей и накорми людей

несчастных... — пронзительным голосом возгласил Хаммарстен, уронив очки в банку с крекерами. — Ночь выдалась жестокая для них.

— Я ничего не подписывал.

— Ты уволил его?

— Пришлось. За какое-то трудовое нарушение. Союз не смог опротестовать.

А я должен был покончить с угрозой забастовки. — Попросту говоря, старика надули, — заметил Энтони. — Его сын ни о чем не догадывается. Он думает, вы поможете.

— Скажите, чтобы он уходил, — повторил Крог. — Ему здесь нечего делать.

– Сомневаюсь, что он уйдет.

– Тогда гоните его в шею, – распорядился Круг. – Вам за это платят. Ступайте.

– И не подумаю, – ответил Энтони.

– О боже, – вздохнула Кейт, – надо кончать этот вечер. Веселья не получается. И коньяк мы весь вылили. Профессор, за каким чертом вы тащили сюда эти крекеры с сыром?

– Старый автомобиль, – объяснил тот. – Я не надеялся, что мы доползем, а девочкам надо питаться.

– Давайте собираться домой, – сказала Кейт. – Энтони, отпусти

этого человека.

– Даже не подумаю, – повторил Энтони.

– Тогда я сама пойду. Ты сошел с ума, Энтони. – Холл! – неожиданно оповестил Круг. – Холл! – Он первым заметил его: там, под люстрами, в дальнем конце освещенного зала он разглядел вихляющую походку, твидовый костюм, узкое коричневое пальто с бархатным воротником («Это Холл», – пояснил он собранию), узкую обтекаемую шляпу, худую плоскую физиономию кокни.

– В конторе сказали, что вы здесь, мистер Круг.

– Все благополучно, разумеется...

С выражением глубочайшего недоверия Холл обвел взглядом застолье – профессор, трагическая дама, Энтони, Кейт. – Разумеется, мистер Крог. – Садитесь, Холл, и возьмите бокал. Вы летели самолетом?

– Я два часа проторчал в Мальме.

– Хотите крекер, Холл? – предложила Кейт, но Холл брезговал взять из ее рук – вообще брать из чужих рук. Даже принесенный официантом бокал он тайком протер под столом краешком скатерти. Его подозрительность и слепая преданность положили конец застольному разговору. – Смотри, как

воет ветер, как разъярилось море, — возобновил свою декламацию Хаммарстен, но под взглядом Холла осекся и захрустел крекером. — Снимите пальто. Холл, — сказала Кейт.

— Я ненадолго. Просто зашел узнать, не нужно ли чего.

— Слушайте, мы не можем держать этого парня всю ночь, — сказал Энтони.

— Он промок до нитки.

— Кто такой? — спросил Холл. Он никого не удостоил взглядом, его юркие глазки буравили Крога; эти глазки приводили на память не привязчивую комнатную собачонку, а скорее поджарого каштанового

терьера — из тех, что околачиваются под дверьми пивнушек, трусят за букмекером, с азартом травят кошек, в подвалах душат крыс.

— Это молодой Андерссон, — ответил Круг. — Его отец подстрекал к забастовке. Я с ним переговорил. Никаких письменных обещаний — шутка, сигара. Их, видите ли, волновал вопрос о заработной плате в Америке. Со стороны оркестра, путаясь в желто-лимонном платье, появилась блондинка: обиженно поджатые накрашенные губы, молящий взгляд — сорванный, смятый цветок, всеми забытый в ночном разгуле. — Ты не должен так обращаться со мной, Энтони. — И я

его уволил. Нашли какое-то трудовое нарушение. Другого выхода не было. А этот малый напрашивается на скандал.

— Я совсем окоченела в этом автомобиле.

— По крайней мере, предложите ему выпить, — сказал Энтони.

— Поедем домой, Эрик, — сказала Кейт.

— Все равно вы его увидите. Я провел его в вестибюль. — Вы не хотите его видеть, мистер Круг? — спросил Холл. — Вы хотите, чтобы он отсюда убрался?

— Я же сказал: гоните его отсюда, — сказал Круг, обращаясь к Энтони. Холл молчал. Он даже не

взглянул на Энтони – и без того ясно, что ни на кого из них мистер Круг не может положиться. Он встал – руки в карманах пальто, шляпа чуть сдвинута на лоб – и вразвалку прошел мимо оркестра, серебристых пальм, толкнул стеклянную дверь в просторный пустой вестибюль и мимо конторки направился прямо к пушистому ковру под центральной люстрой, где растерянно переминался молодой Андерссон. Из ресторана хлынули звуки оркестра: «Я жду, дорогая».

Я жду, дорогая.
Не надо сердиться.
Пора помириться.

Я так одинок.

– Ты Андерссон? – спросил Холл. Его знание шведского языка составляли, в основном, имена существительные, попавшие в разговорник. – Да, – ответил Андерссон, – да. – Он быстро подошел к Холлу.

– Домой, – сказал Холл. – Домой.

С любовью не шутят – Пойми, дорогая.

Меня не пугает...

– Домой, – повторил Холл. – Домой.

– Мне только повидать мистера Крога, – сказал Андерссон, пытаюсь задобрить Холла улыбкой. Холл свалил его ударом в челюсть и, убедившись, что одного раза достаточно, снял кастет и приказал портье:

– На улицу! – Возвращаясь, он с горечью думал: расселись, дармоеды,

пьют вино за его счет, а чтобы сделать для него что-нибудь — на это их нет. В зеркале около ресторанной двери он видел, как Андерссон с трудом поднялся на колени; его лицо было опущено, кровь капала на бежевый ковер. Холл не испытывал к нему ни злобы, ни сочувствия, поскольку все его существо поглотила та бездонная самоотверженная любовь, которую не измеришь никаким жалованьем. Он вспомнил о запонках. Коричневый кожаный футляр лежал в кармане рядом с кастетом, сейчас он потемнел от пропитавшей его крови. Закипая гневом. Холл грустно вертел футляр в пальцах. Как заботливо он

его выбирал! Это не какая-нибудь дешевка — стильная вещь. Холл решительными шагами пересек вестибюль и потряс футляром перед лицом Андерссона.

— Ублюдок, — сказал он по-английски. — Жалкий ублюдок. У молодого Андерссона был полный рот крови, глаза заволокла красная пелена, он ничего не видел.

— Я не понимаю, — проговорил он, раздувая на губах пузыри. — Не понимаю.

Холл еще раз взмахнул футляром перед его лицом, потом поднял ногу и ударил в живот.

Поезд в Гетеборг уходил через полчаса. Прогуливаясь, Энтони и Лу поднялись, по Васагатан, миновали почту и повернули обратно. – Пора идти на вокзал, – сказала Лу.

– Я купил тебе конфеты на дорогу.

– Спасибо.

– Ты запаслась сигаретами?

– Да, – ответила Лу.

Утро в Гетеборге, завтрак в Дротнингхольме, обед с родителями – как мало они виделись, как пусто и голодно на душе. Поднял якорь английский лайнер,

пришвартовавшийся у Гранд-Отеля в ту ночь, когда они прибыли в Стокгольм; на Хассельбакене убрали с улицы стулья; Тиволи закрыли. Скоро зима, все разъезжаются по домам.

— Журналы у тебя есть?

— Есть, есть.

Они повернулись спиной к шумной сутолоке на привокзальной площади, снова дошли до почты и вернулись назад. В ресторане напротив вокзала сидел Минти и студил кофе в блюдце, Энтони махнул ему рукой. Оставалось переброситься незначительными фразами — жалко, что уезжаешь, может, еще увидимся, мне было

хорошо с тобой, спасибо, au revoir, auf Wiedersehen, если когда-нибудь будешь в Ковентри, — оставалось поцеловаться на платформе и взглядом проводить поезд.

— Мне было хорошо с тобой.

— И мне.

— Пора идти на вокзал. — Еще один шаг, у почты развернуться — и в обратный путь по Васагатан.

— Хорошо бы и мне уехать.

— Да.

— Будешь немного скучать?

— Да.

— Пиши.

— Какой смысл?

— Вон твой отец. Разыскивает тебя. Махни ему рукой, он

успокоится и уйдет. Как всегда, с Локкартом.

Вот и еще что-то кончилось, еще одна зарубка в памяти рядом с лестничной площадкой, надписями на стене и молоком, которого не было. — Зачем тащиться на платформу? Осталось еще десять минут. — Высокие перистые облака затягивали ясный небосвод. — Будет дождь. — Я пройду с тобой немного дальше, — сказал Энтони. Что ж, думал он, это не самый худший конец: хуже, когда звонишь в пустую квартиру, ждешь все утро на лестнице и, не зная почерка, гадаешь, что она могла написать:

«Сегодня молока не было»,

«Вернусь в 12:30», «Вызвали, вернусь завтра»; среди полустершихся записей женские торсы, бегло нацарапанные мальчишеской рукой; прямо скажем, могло быть хуже, а так – было и кончилось, привет, Минти, привет, старина, выпейте чашечку кофе, каким-то будет новый туристский сезон, поживем – увидим. – Мне нравится твоя шляпка. – Она очень древняя. – Ничего страшного – все кончается, к этому привыкаешь, жизнь – та же азбука Морзе: точка – тире, точка – тире, не знаешь, где остановиться.

– Это уже мой поезд. Если когда-нибудь будешь в Ковентри...

— Вполне возможно.

— Бежим. Вот моя карточка. У нас есть телефон. Нужны крепкие нервы, чтобы не сорваться в эти лихорадочные последние минуты, когда бежишь вдоль вагонов, раздумывать уже некогда, и сейчас все кончится...

— Дальше не ходи.

— Еще немного. Вон твой вагон. — Когда кричит проводник и захлопывает дверь.

— Слушай, Аннет.

— Лу, с вашего позволения.

— Ну конечно — Лу. Прости; у нас еще три минуты. Я все время думаю. Знаешь, ты права насчет работы. Я ее брошу. Несколько дней назад в

Салтшебадене... На будущей неделе я вернусь в Англию, Лу. – Не правда.

– Вот увидишь.

– Приятный будет сюрприз.

– Роман?

– Не возражаю. В виде исключения.

– Значит, ровно через неделю в Ковентри. Как мы встретимся? Где-то в самом хвосте длинного поезда призывно махали руками Дэвиджи, но спешить некуда, до отправления две минуты и к тому же только что прибыл английский посланник. Начальник станции церемонно поклонился, подбежал носильщик, и сэр Рональд не спеша направил свои замшевые туфли в сторону книжного

киоска; всего два чемоданчика, потянуло домой на пару дней. — Ровно в этот день через неделю.

— Слушай, — заторопилась Лу. — На Хай-стрит есть кафе. Марокканское. Ты его сразу найдешь: это на той же стороне, где Вулворт, только ближе к почте. Ровно через неделю я буду там после обеда. Позвони, если не сможешь.

— Я приду, — сказал Энтони.

— Я буду во втором зале.

На виду у беспокоящихся Дэвиджей они не решились поцеловаться, ограничились рукопожатием, и, чувствуя, как в его руке похрустывают суставы ее пальцев, Энтони подумал: «Да, это

роман». Она побежала в конец поезда; он чувствовал себя усталым и опустошенным, словно она унесла с собой свою половину воспоминаний — завтрак, обед, постель в квартире Минти. Сэр Рональд водворился в своем первом классе, развернул «Таймс» и, набирая скорость, мимо Энтони, сверкая стеклами и ослепляя электричеством, побежали вагоны, словно батальон чистеньких щеголеватых новобранцев, и он, старый сверхсрочник, едва успел козырнуть им в ответ. Он отправился искать Минти. Надо с кем-то отвести душу.

Минти переливал кофе из чашки в блюдце и из блюдца обратно в

чашку.

Мимо спешили прохожие.

– Я бросаю свою работу, – сказал Энтони. – Возвращаюсь в Англию, в Ковентри.

– Работой не бросаются, – сказал Минти.

– Что-нибудь подвернется. – Но не чувствовал он в себе былой уверенности: ведь если раньше не приходилось голодать и подолгу сидеть без денег, то лишь потому, что всегда была возможность заняться пылесосами. – Везет вам, – сказал Минти.

– Это вам везет. У вас регулярное пособие, – но, если честно, он, конечно, не завидовал

Минти. Посмотришь, как спешат по своим делам шведы, как перед очередным поездом оживает привокзальная площадь, и становится ясно, что оба мы одним миром мазаны: в чужой стране, среди чужих людей – бродяги, отбывающие свой исправительный срок в Шанхае, Адене, Сингапуре, накипь в яростном котле жизни. Пожалуй, только в одном отношении можно позавидовать Минти: что он нашел свою мусорную свалку и успокоился. У них не было надежного положения, а бороться за него их не научили. Им не доставало энергии, оптимизма, чтобы верить в добрые отношения, взаимопомощь и

облагораживающий труд, да и будь у них эта вера — что бы они с ней делали, ведь уже не юноши? Их ни на что не хватало, им было хорошо только в своей компании в клубах, в чужих столицах, в пансионах, на обедах выпускников, где вместо недоступного вина они упивались мимолетней верой в нечто высшее: отечество, король, «к стенке вшивых большевиков», окопное братство — «мой бывший ординарец». — «Погодите, мне знакомо ваше лицо. Вы не были у Ипра в пятнадцатом?»

— А почему вы бросаете свою работу? — спросил Минти. Потому что я не мальчик, чтобы верить в справедливость, подумал он, и еще

не старик, чтобы носиться с отечеством, королем и окопным братством. Вслух он сказал:

— Есть вещи, которые я не сделаю даже для Кейт. — А то подождите, в будущем месяце у нас обед выпускников Харроу. Я все-таки выбил согласие у сэра Рональда.

— Я не учился в Харроу.

— Я это сразу понял. — Минти подул на кофе. — Зима. Я ее всегда чувствую нутром, в том месте, где делали дренаж. — Вам нужен теплый пояс.

— Я ношу.

— Я носил несколько лет после аппендицита. — Скучно, без удовольствия, вели они разговор на

близкую обоим тему. — Мне в Вестминстере делали операцию.

— Мне здесь, — сказал Минти и раздраженно добавил:

— В общественной больнице.

— Когда на седьмой день сняли швы...

— У меня там образовался свищ. Даже сейчас я не переносу ничего горячего.

— Иногда у меня болит. Вдруг они что-нибудь там оставили — тампон или пинцет?

— Видели посланника? — спросил Минти. — Поехал в Лондон на несколько дней.

— В субботу уже будет на месте.

— Я часто думаю: неужели не

суждено вернуться? — произнес Минти. — Нагряться. Свалиться как снег на голову. На днях я получил письмо от тетки. Не забыли все-таки. Хочется сходить в Ораторию. — Он отхлебнул кофе, обжегся, быстро отставил чашку и приложил к губам платок. — Ровно через неделю я буду в Англии, — сказал Энтони. — Я буду скучать, — сказал Минти, подняв на него завистливый, затравленный, заискивающий взгляд.

— Ну, ладно, — поднялся Энтони. — Пойду скажу Кейт, надо еще деньги достать. Хотите еще по чашечке, пока я не ушел? — Спасибо, спасибо, — хватаясь за предложение, поспешил ответить Минти. — Вы так

любезны. С большим удовольствием; Она будет стынуть, пока я управлюсь с этой. Если у меня хватит терпения, я дождусь Нильса, он пойдет этой дорогой. А им, знаете, не нравится, если посетитель часами сидит с единственной чашкой кофе.

Энтони заказал кофе. Какого черта, думал он, я же еду домой. Если я не чувствую себя счастливым сейчас, когда все решено, осталось только найти деньги, упаковать чемодан и попрощаться с Кейт (столько лет жили врозь – почему сейчас нельзя?) – если даже в такую минуту я не чувствую себя счастливым, то чего, спрашивается, еще ждать? – и, возмеща

нерасторопное счастье, его охватило наплевательски спокойное равнодушие. Сжечь корабли. – Как насчет прощального подарка, Минти? – спросил он. – Ну как же, обязательно, – откликнулся Минти. – Правда, в будущем месяце, когда появятся деньги.

– Я говорю о подарке для вас. Газетная сенсация. Отдаю задаром, потому что вы мне нравитесь, и потому что на будущей неделе я буду такой же нищий, как вы сейчас.

– Великодушный человек, – рассеянно обронил Минти, тревожно высматривая официанта с кофе.

– Круг женится на моей сестре.

– Святой Кнут! – воскликнул

Минти. – Это правда? Вы уверены, что это правда? Вдруг утка? Тогда мне несдобровать.

– Честное слово. – Вспомнив школу, он растопырил пальцы, подтверждая, что никакого обмана нет.

– Святой Кнут.

Расставшись с Минти, Энтони окинул взглядом потемневшие мокрые улицы и раскрыл зонтик; на Тагельбакене несколько капель дождя звонко разбились о крышу трамвая, бесцветной массой высилась ратуша, в металлическое блюдо озера упирался высокий плотный столб дождя; корабли сожжены; теперь и захочешь, нельзя

остаться. На Фредсгатан, карауля такси, прятались в подъездах прохожие. Энтони ткнул зонтиком в кованые цветы на воротах «Крога» и стучал, пока не открыли: он почувствовал прилив злобы к этому огромному стеклянному зданию, образцу вкуса и чувства современности. Всюду горели огни, хотя было еще утро; раскалившись, гудели электрические нагреватели. Я бы мог много порассказать Минти — как подстроили увольнение Андерссона, что и как продали «Баттерсону». Вымещая на ногах злость, он почти бегом поднялся по лестнице; по дороге его нагнал лифт и плавно понес выше клерка в

строгом костюме с охапкой цветов в руках. На лестничной площадке девица в роговых очках передвигала флотилию металлических корабликов на морской карте, подсказывая себе шепотом: «Пятьдесят пять градусов сорок три минуты». Зазвонил телефон, над дверью вспыхнула красная лампочка. В «Кроге» кипела работа; словно гигантский корабль, построенный в кредит, доверенный опытности капитана и команды, «Крог» на всех парах совершал свое ежедневное плавание. «Шестьдесят семь градусов двадцать пять минут».

Он открыл дверь: за большим столом в форме подковы, под низко

свисавшими светильниками двадцать художников отрабатывали двадцать вариантов рекламы. Автоматический граммофон тихо наигрывал расслабляющую музыку, из репродуктора подавались необходимые указания. Ошибся дверью. А здесь что? Ряд черных полированных столов.

– Доброе утро, Лагерсон.

– Доброе утро, Фаррант.

Энтони перегнулся через стол и шепнул в большое розовое ухо:

– Увольняюсь.

– Да что вы!

– Точно.

От изумления Лагерсон раскрыл рот и медленно ушел под воду,

топыря розовые уши; его лицо залила бледно-зеленая краска, он задышался, тычась носом в стекло своего аквариума.

— Почему?

— Скучно здесь, — ответил Энтони. — Тесно, негде проявить себя. — Он понизил голос и загрустившим взглядом обвел тихую строгую комнату:

— Чего вы здесь добьетесь? Надо уезжать, посмотреть, как живут люди. Что это у вас?

— Готовлю рекламный материал.

Энтони непринужденно облокотился на край стола. В восторженных и глупых глазах Лагерсона он видел себя смелым

искателем приключений, сильным человеком. Он со злобой пнул черный стол.

— Ровно через неделю я буду в Ковентри.

— Что это — Ковентри?

— Крупный промышленный город, — объяснил Энтони. — Стокгольм перед ним деревня. Есть где развернуться.

— Да, здесь скучно, — зашептал Лагерсон, расплющив резиновые губы на невидимом стекле. — Боишься слово сказать. Кругом доносчики. — Его совсем еще детское лицо приняло угрюмое, замкнутое выражение. — А вы плюньте! — настаивал Энтони. — Что думаете, то

и говорите. Сочувствующие найдутся. Заставьте считаться с собой, это главное. — Он без всякого намерения завел эти подстрекательские речи, тем более, что Лагерсон был ему безразличен: он не мог простить Крогу Андерссона, власти, не мог простить ему Кейт и чувства некоторой признательности за самого себя.

— Ну, прощайте, Лагерсон. Я забежал за деньгами. И по лестнице на следующий этаж.

— Доброе утро, Кейт.

— Одну минуту, Тони.

Прежде чем заговорить, она выровняла две стопки распечатанных писем, расчистила стол. Она и с

лицом проделала такую же подготовку, подумал он, в его выражении ничего лишнего, только то, что нужно: не искренне ваша, не ваша преданная и не всей душою ваша, а просто — с любовью, Кейт. Он любил ее, восхищался ею, но эта ее внутренняя собранность раздражала его, как фонтан во дворике. Он очень долго жил далеко от нее, а, вернувшись, увидел на ней печать «Крога». Растравляя себя, он думал: «В конце концов, я только обуза для нее, лучше уехать, развязать ей руки, мы уже давно отошли друг от друга».

— Я говорил сейчас с Лагерсоном.

— Одну минуту, Тони.

Да, они далеко разошлись. Жизнь соскоблила с нее все лишнее, опасности выпрямили ее. На нем же оставались все шероховатости и неровности, он еще мог расти в любую сторону. Неудачи кружили ему голову, а она свыклась с успехом, и эта обреченность сильнее всего поражала его. — Я еду домой, — сказал Энтони.

— Домой?

— Ну, в Лондон, — раздраженно пояснил Энтони. — Вряд ли моя комната еще свободна. Я знаю, что у нас нет дома. Просто так говорят. — Ты не мог потерпеть и сообщить это после обеда?

— Какого обеда?

– Ну, конечно – ты забыл, что сегодня мы обедаем вместе, впервые за все время. Значит, ты не заметил и этого? – она тронула рукой приколотые цветы. – И этого? – она коснулась напomaженных губ. – Что же ты не поберег эту приятную новость до кофе?

– Я тебе здесь только мешаю.

– Это, конечно, Лу постаралась? Господи, бывают же такие глупые имена!

– А что в нем плохого? Имя как имя. Кейт, Лу – одно не глупее другого.

– Когда ты едешь?

– Мы встречаемся ровно через неделю.

– Ровно через неделю. – Слева от нее лежал настольный календарь, расписанный на две недели вперед. «Шесть часов, встреча с директорами в домашней обстановке, коктейли».

– У нас-то будет чай.

– А как же с работой?

– Что-нибудь подвернется. Не впервой.

– Держался бы за эту. Неужели тебе не надоело скакать с места на место?

Если ты и сейчас сорвешься, то этому никогда не будет конца. Всего неделю прожил он с чувством, что осел надолго, и действительно успел забыть, как ему надоели новые лица,

новые столы и расспросы. Он поспешил прогнать эти мысли, вспомнив Лу, девочек с Уорддор-стрит, приятельниц, с которыми так хорошо и недорого. — Это неприличная работа. Хотя бы та ночь. Что им плохого сделал Андерссон? Я не желаю участвовать в их грязных делах. Есть вещи, которые не для меня. — Бедный Тони, — вздохнула Кейт. — Какие мы разные. Не нужно тебе было возвращаться.

— Куда возвращаться?

— Тогда, в школу. Я дала тебе плохой совет в ту ночь.

— Ты говоришь что-то непонятное, Кейт.

— При твоей щепетильности

нужно иметь деньги. — Именно за этим я и пришел: немного денег. — Он сделал попытку сократить болезненное расставание. — Я подумал утром: Кейт не оставит меня без денег. Я потом верну.

— Говоришь, не оставит? — спросила Кейт. — Ошибаешься. Не будь дураком, Тони. Если ты останешься здесь еще неделю, ты ее забудешь. — Знаю, — сказал Энтони. — Поэтому я и хочу уехать. — Он упирался так, словно не забыть Лу было вопросом чести, словно она была донесением, с которым ему предстояло пройти через расположение врага, устным донесением, ускользавшим из

памяти с каждой заминкой в пути. — Я ждала этого, — сказала Кейт. — Я это чувствовала. Видишь, как разоделась? Правда, я думала, что это случится за кофе. Твоя любимая помада, цветы. — И с ноткой безнадежности в голосе добавила:

— Сестра есть сестра. Где мне угнаться за Лу! Ты, наверное, счел бы неприличным сказать, что любишь меня.

— А я люблю тебя, Кейт. Правда.

— Сказать все можно. —

Протестуя, он опустил руку на ее стол. — А вот как я тебя люблю, Энтони. — Она полоснула перочинным ножиком у самых его пальцев, он едва успел убрать руку. —

Что ты, Кейт!... -...сладостная боль, Тони.

— Когда целует до крови любимый.

— Ты чуть не порезала меня.

— Бедный Тони. Дай пожалею.

— Я тебя не понимаю, Кейт.

— А раньше понимал, Тони.

Помнишь, мы играли в телепатию на каникулах? Я лягу спать и думаю о чем-нибудь, а утром...

— Это очень старая игра, Кейт. Сейчас у нас не получится. — У меня получается. Сегодня утром, когда я проснулась, я знала, что это случится. Я слышала тебя так же ясно, как в тот раз, когда ты кричал. — Значит, у тебя было время

приготовить для меня деньги! – рассмеялся Энтони.

– Нет! И ты сам это понимаешь. Разве ты будешь уважать девушку, которая не старается всеми правдами и не правдами удержать тебя при себе? Я хочу удержать тебя, Тони.

– Против моего желания?

– Я могла бы сказать, что для твоего блага, только для твоего блага. Но на самом деле – потому, что я люблю тебя, что ты единственный человек, которого я люблю.

– Брат и сестра, – потерянными голосом выдавал Энтони: быть с ней рядом, знать ее чувства, видеть сильные родные пальцы, сжимающие перочинный ножик, ловить запах ее

духов, видеть ее цветы – как тут сохранить верность Лу? Лу – это жажда плоти, это ненадолго, а здесь, что ни говорите, тридцать общих лет; но уж когда прихватит эта горячка, то махнешь рукой на все, это он тоже знал. Кейт нужна, когда все спокойно и хорошо, когда жажда утолена – вот тогда тянет к сестре, к родственным чувствам. – Я попрошу у Крога расчет. Он должен оплатить мне неделю. – Он тебе ничего не даст.

– Тоща я пойду к Минти и продам ему кое-какой материал. Я уже подарил ему одну новость. Рассказал, что вы женитесь. – Ты ему сказал? Какой же ты дурак. Тони! Ведь Эрик запретил тебе связываться

с прессой.

— У меня в запасе рассказ об Андерссоне.

— Ты неразумен, как малое дитя.

— А забастовка была бы ему сейчас очень некстати, поскольку американские работы еще не завершены.

Он был как в лихорадке; постукивая пальцем по столу, он открыл все свои козыри: «Андерссон, продажа „Баттерсону“, махинации в Амстердаме» и с чувством острой жалости к себе понял, что плотский зуд одержал верх, что перед жаждой плоти бессильны и общая жизнь, и утренняя телепатия, и шрам под глазом. Можно считать, что он уже в

Ковентри; марокканское кафе, второй зал, между Вулвортом и почтой.

— Слушай, когда твоя новость попадет в газеты? Вечером? — спросила Кейт. — Вот твои деньги и, ради бога, не делай больше ничего. — Спасибо, Кейт. Ты молодец. Завтра я уеду. От меня здесь никакого толку, правда.

— И пусть Эрик носит свои ужасные галстуки, ему же хуже. — Сегодня я подберу для него что-нибудь. — Он поцеловал ее, мучаясь ревностью: ему страшно не хотелось уезжать, как жаль, что иногда приходится терять голову. — Что тебя сейчас волнует, Кейт? Скоро ты сама

приедешь. Я ведь не на Восток уезжаю.

– Нет, – сказала Кейт.

– Не волнуйся, Кейт.

– Я просто думаю, – ответила Кейт. – Меня вызывает Эрик. – Над дверью горела лампочка, но она медлила, обратив к нему лицо, на котором застыл план крупной и трудной кампании. – Давай поужинаем сегодня вместе, раз у тебя последний вечер. Не занимай его. – Но в чем состоял ее план, он не мог догадаться – он разучился понимать ее стратегию, да и голова уже не тем занята.

– Конечно, конечно. У тебя дома?

— Нет, не дома. Где-нибудь в тихом месте, чтобы мы были одни и чтобы никто не знал, где мы.

Холл купил газету и, свернув ее, пересек потемневшую осеннюю площадь. Не ошибся ли он с этими запонками? Может, надо было купить перстень или портсигар? Или пресс-папье? Он шел, загребая ногами мертвые листья, уставившись безжизненным взглядом на носки туфель, и по его виду никто бы не

догадался о том, что слепая преданность давит на него тяжким бременем ответственности. Запонки ведь не просто подарок: это залог, мольба. Словно юный и еще восторженный любовник. Холл хотел, чтобы его помнили. Портсигар? Или лучше – серебряный браслет? Еще не поздно исправить. Он развернул газету, рассчитывая найти в рекламном разделе какой-нибудь ювелирный магазин, и увидел крупными буквами набранное имя Крота. Дальше он не прочел, отвлекшись на витрину с зеленой настольной лампой в форме обнаженной женщины. Красиво, подумал он, и с досадой вспомнил

фонтан во дворике правления. Он энергично вышагивал по Фредсгатан, бормоча под нос: никакого вкуса, у них совсем нет вкуса. У перекрестка он остановился переждать движение и еще раз заглянул в газету: «Эрик Крог женится на англичанке-секретарше».

Холл издал хриплый возглас и, словно выпущенное ядро, устремился вперед, рассекая поток машин. Глубоко засунув в карманы пальто руки в коричневых перчатках, он вошел в ворота компании, не взглянув на фонтан, не замечая вахтера, погруженный в мрачные раздумья: Холл им уже не нужен, бабы лезут в правление, бабье

царство. Он, не задерживаясь, прошел прямо в комнату Крога.

— Я принес вам подарок, — сказал он.

— Удачно, что вы пришли, — отозвался Круг. — Я хотел с вами поговорить. Вы согласились бы поехать в Нью-Йорк?

— Как член правления?

— Да, как член правления.

Вот она, давнишняя мечта, но сейчас его единственной мыслью было: хотят избавиться, тут новые порядки, а я человек простой. Уходя от ответа, он сказал:

— Я увидел в магазине эти запонки, думал, они подойдут к моей новой булавке. Но получается

перебор. Сплошные брильянты. И я решил отдать их вам — в качестве свадебного подарка.

— Свадебного подарка?

Холл положил на стол газету и запонки.

— Я не разрешал этого, — сказал Круг.

— Так, — выпрямился Холл, — тогда я знаю, кто это сделал. Недаром он приставал с разговорами к служащим.

— Фаррант?

— Зачем вы его взяли, мистер Круг? — спросил Холл. — Зачем?

— Мне был нужен телохранитель.

Собачья физиономия Холла передернулась:

— Для этого есть я. В Амстердам вы могли послать кого-нибудь другого. Этот парень меня сразу насторожил. Не знаешь, что у него на уме. Много он помог в ту ночь? — Холл поднял и снова опустил на стол кожаный футлярчик в пятнах крови. — Он безвредный малый, — грустно сказал Круг. — Он мне понравился. Придется отправить его домой.

— А мисс Фаррант знает о продаже «Баттерсону»?

— Ей можно доверять, Холл.

Но Холл никому не доверял. Он стоял у окна, отравляя комнату подозрениями, ревностью и преданным обожанием. Рядом с ним

все обнаруживало свою истинную цену: заумный модерн, изысканно-уродливые формы – все теряло вид рядом с его честным коричневым костюмом из магазина готового платья. Он не боялся показаться вульгарным (пиджак в талию), сентиментальным (брелок на цепочке для часов), глупым (бумажный нос в Барселоне). Он не тянулся за модой, не стремился привить себе хороший вкус – он был самим собой. Холлом.

Устоять перед его преданностью было немыслимо. Круг поерзал, бросил взгляд на запонки и со вздохом повторил:

– Мы отправим его домой.

— Вы не знаете этих людей, мистер Круг, — сказал Холл. — Предоставьте его мне. Я все улажу.

— Дадим ему билет в руки — и дело с концом.

— Нет, — сказал Холл. — Ни в коем случае не делайте этого. Он здесь болтался повсюду, говорил с персоналом о краткосрочных займах. Откуда он знает о наших займах?

— От своей сестры, надо полагать, — сказал Круг. — Что, если он знает еще кое о чем? Он возвращается домой, не находит работы — и идет в «Баттерсон»! Мы должны задержать его здесь на неделю. — А здесь он связался с прессой.

– С прессой мы уладим.

– Хорошо, – неожиданно повеселев, согласился Круг. – Подождем неделю. Это легко сделать. Он не хочет уезжать. Пока ему платят, он будет вести себя тихо.

– Вам надо объяснить мисс Фаррант, что к чему. – Но при виде ее Холл отвернулся, он не мог примириться с мыслью, что ей доверяют: баба. Пусть Круг сам объясняется.

– Твой брат распустил язык с прессой.

– Быстро ты узнал.

– Это Холл.

– Ну, разумеется.

– Этому надо положить конец.

– Не волнуйся, – сказала Кейт. – Завтра он уезжает в Англию. Я дала ему деньги.

– В Англию? Почему в Англию? – Холл повернулся в их сторону. Он встревоженно потянул руки из карманов, но сдержал себя. – Не беспокойтесь, мистер Крог. – Он был похож на старую няню, у которой уже взрослый подопечный: ей хочется успокоить его, как раньше, – обнять, пригреть на груди, но тот давно вышел из этого возраста. – Нет оснований беспокоиться. Я все улажу.

– У него там девушка, – объяснила Кейт, слишком явно стараясь убедить их, что ничего

особенного не происходит, что бояться ровным счетом нечего. — Он влюблен, — грустно добавила она. Ее объяснениям нужен был сочувствующий слушатель, они птицей бились в непроницаемое стекло, за которым укрылся Холл, срывались и падали. Его любовь к Крогу восхищала, трогала и пугала — он растворился в ней весь без остатка. Он был неотъемлемой частью «Крога», как пепельница с монограммой или ковер с инициалами («Мы его подсидим, как Андерссона», — пообещал он), и по этой же причине «Крог» был немыслим без Холла. «Крог» перенял его мелочность, перестраховочную

осторожность, нерассуждающую жестокость, «Крог» слился с Холлом.

– Вы не сделаете этого, – сказала Кейт.

– Мы его подсадим, – повторил Холл.

– Тогда не вините меня, если он заговорит, – сказала Кейт. – Он не дурак.

– Иначе говоря, он знает о продаже «Баттерсону»? – спросил Холл. – Что, может быть, уже все знают об этом?

Он обдал ее неприязненным, испытующим взглядом, однако он слишком уважал ее, чтобы попусту терять время. Ведь они единомышленники, им обоим

наплевать на Андерссона, только стараются они каждый ради своего человека — в этом вся разница. У Холла не было времени долго раздумывать, его мысли приняли определенное направление. — Он играет в покер? — спросил он. — Да, — ответила Кейт.

— И хорошо играет?

— Он ни во что не играет хорошо.

— Насколько я понимаю, — сказал

Холл, — с карточным долгом человеку не до баб. Вам придется вечером сесть за карты, мистер Круг. Его нельзя отпускать в Англию.

— Вечером мы с Тони уходим, — сказала Кейт.

— Если не карты, то мы ему что-

нибуть подстроим, — сказал Холл. — Ему нельзя уезжать из Стокгольма.

Он стоял застывшим столбиком бурого едкого дыма. Носки его замшевых туфель заострились, от злости набрякло пальто. — Я спокоен, — сказал он, — и я прослежу, чтобы мистер Крог тоже не беспокоился.

— Нужно ли это понимать так, что вы хотите составить нам компанию за ужином? — с вызовом спросила Кейт.

— Я приду, — заверил Холл. — Можете не сомневаться. Бурый столбик едкого дыма, туго перекрученный злостью, — он крепко стоял, этот добровольный цербер

дворцов из стекла, заводов в Ньючепинге, лесопилен на севере.

Холл поднялся и закрыл окна, двойными рамами прогнав вечернюю сырость.

Энтони поставил две кроны, Круг четыре.

— Я кладу карты, — сказала Кейт. — Мне сегодня что-то не везет. Холл вернулся к столу. На своем веку он переиграл столько партий, что уже не следил за выдержкой, и это не

был блеф, он не играл комедию, а просто умел отключиться и думать о другом. Он стремительно надбавлял ставку и погружался в долгое недоверчивое молчание. — Удваиваю, — он в упор смотрел на Энтони, совершенно не интересуясь, что у того в руке. Его занимали совсем другие мысли, и, когда пришла его очередь, он не раздумывая сбросил подвернувшуюся карту (у него были две десятки пик, четверка и двойка бубен и трефовая шестерка). — Беру одну, — сказал он, сбрасывая шестерку. Он не учитывал возможности, как полагается игроку, играл наобум; он рассчитывал только на слабость противника, ни о чем не

думал. Против сильного игрока он непременно проигрывал, зато среднего или слабого неизменно побеждал. Взятую карту он даже не удостоил взглядом (это была тройка червей).

— Беру три, — объявил Галли. — Карты привели его в радужное настроение, он был убежден, что разгадает любой блеф. — Военный атташе забывает об осторожности, — хохотнул он, обежав присутствующих светлым зайчиком монокля. — Военные хитрости, ха-ха! — но безучастность Холла заставила его прикусить язык.

— Удваиваю, — сказал Холл.

За спиною Энтони Кейт прошла

к окну. В его невезучей сильной руке она увидела три девятки, валета, двойку. По собственному убеждению, он играл трезво, не блефовал по крупной, зато обязательно передерживал самую малость, и либо его просили открыть карту, либо он сам не выдерживал высоких ставок Холла и пасовал. Он только один раз выиграл. — Да-а, — напуская туману, протянул Галли, — тут надо подумать. — Еще удваиваю, — сказал Холл. Она взглянула в его сторону: одну руку он плашмя выложил на стол, другую держал на коленях, тесным веером зажав в ней карты; он не отрываясь смотрел на Крога. При каждой ставке Галли заглядывал в

свои карты.

За окном прошел пароход, помаргивая огнями в низком сером тумане; он прошел под отражением игроков и за головою Холла канул в ночь. На том берегу просверленными дырками зияли освещенные окна рабочих квартир. — Посланник уехал в отпуск? — спросила Кейт. — Он всегда к первому числу ездит в Шотландию, — ответил Галли. — На это время я пускаюсь в кутеж. Вы охотитесь, Фаррант? — Да, — сказал Энтони, избегая смотреть в сторону Кейт, — я надеюсь застать несколько дней.

— Едете домой?

— Завтра.

– На море сейчас неспокойно, – сказал Галли. – Плаваете хорошо?

– Не очень.

– Не рискуешь – не добудешь, – посочувствовал Галли. – У меня к воде недоверие, ха-ха! Сыроежка Траверс на днях звал к себе. Он откупил участок для охоты.

– Еще удваиваю, – сказал Холл. Он пропускал мимо ушей разговоры и с тем же сосредоточенным видом, какой у него был в уборной на самолете, одну за другой курил сигареты, выпуская через нос бурый табачный дым. – Пасую.

– Я уравниваю, – сказал Круг. Холл бросил на стол карты – две десятки, остальное совсем мелочь.

– У меня две дамы, – показал Круг.

– Не жалеете вы своего преданного слугу, – вздохнул Энтони, передавая Кругу проигрыш. Он раскурил сигарету, светясь беспричинным счастьем и всему радуясь, – тонкой струйке дыма, картам, которые Холл собрал для новой сдачи.

Запомнить эту минуту, думала Кейт: Тони рядом, Тони счастлив, за окном проплывает лодка, за озером гаснут окна в рабочих квартирах. Ветер разворошил стелющийся туман, вспенил его над водой и в рост человека закутал ноги уличных фонарей; через двойные рамы окон

проникают слабые звуки
автомобильных сирен. Запомнить эту
минуту. Спрятать поглубже. —
Перекусите, пока не начали, —
предложила Кейт. Она подкатила к
ним столик с закусками, разлила по
рюмкам шнапс. Мужчины разобрали
бутерброды с ветчиной, колбасой,
копченой лососиной. Холл ничего не
взял, он раскурил новую сигарету и
перетасовал карты. — Skal. — Skal. —
Skal. — Запомнить эту минуту.

— У вас превосходный
радиоприемник, — сказал Галли.

— Правда? — спросил Круг. — Я
им никогда не пользуюсь.

— Половина десятого, — заметил
Энтони. — Последние известия из

Лондона.

Кейт повернула ручку
настройки.

— Парализовав Исландию,
депрессия... — выговорил ровный
бесстрастный голос и пропал.

— Милый Лондон.

— Вот Москва, — сказала Кейт,
вертя ручку приемника, —
Хилверсум, Берлин, Париж...

Aimer a loisir,
Aimer et mourir,
An pays qui te ressemble

Любить и умереть в краю,
Напоминающем о тебе
(фр.)».

– Открывая новые предприятия
газового топлива и коксовой
переработки, герцог Йоркский...

Словно свечи на
рождественском пироге, один за
другим гасли белые, воцеленные голоса,
подточенные атмосферными
помехами над Северным морем и
Балтикой, грозами в Восточной
Пруссии и ливнями в Танненбурге,
осенними молниями над
Вестминстером и свистом в эфире. –
Париж ни с чем не спутаешь, –
сказал Энтони, – aimer, aimer, aimer.

– Вам сдавать, мистер
Фаррант, – сказал Холл.

— А голос был отличный, — отозвался Галли, — просто отличный.

— Мне не сдавайте, — сказала Кейт. — Я уже просадила массу денег. А вы сами поете, капитан Галли?

— Для друзей, только для друзей. Я мечтаю сколотить здесь маленькую оперную труппу из англичан. Взять что-нибудь нетрудное — «Микадо», «Веселая Англия». Заодно хорошая пропаганда.

— Полу-чите-вашу-карту, — отбарабанил Энтони, сдавая на четверых. — Встань у меня за спиной, Кейт, на счастье. Сделай ручкой, шаркни ножкой, деньги прилетят в окошко. Сейчас я продуюсь, и

пойдем побираться вместе. Холл поставил пять крон.

— А у вас нет на примете сопрано, мисс Фаррант? У меня из-за этого все дело стоит. Миссис Уайскок абсолютно не умеет держаться на сцене.

— Слава богу, что я успел купить билет, — сказал Энтони.

— Вы купили билет? — воскликнул Холл.

— Иначе вашему преданному слуге не увидеть Лондона, как собственных ушей. Интересно, они включают питание в стоимость билета? — Но не спиртное, мой мальчик, — предупредил Галли. — Ты купил билет? — спросила Кейт. Он

таки обошел их, подумала она, и только эту минуту надо запомнить, потому что она уже никогда не повторится. Тони счастлив, клубится туман, в окнах двоится свет от камина, тонко звенит электричество. — Дайте пять. — У него все карты одной масти. — Удваиваю. — Он запомнит все это, думала Кейт, он много лет будет рассказывать об этом вечере: как он играл в покер с самим Крогом, как взял из колоды пять карт и все одной масти. Рассказ будет гулять по всему свету, по всем клубам, и ему никто не поверит. — Удваиваю. — Кладу карты, — сказал Галли.

Она уже строила планы, как они

снова съедутся. Можно, конечно, помолиться — искушение слишком велико; просить вечность, доброго боженьку; растрогать бессловесным воплем, истовым упованием: «Я люблю его больше всего на свете»; нет, мало: «Я люблю одного его на всем свете; отдай его мне, удержи его со мной; не слушай, что он говорит, уврачуй, избавь меня от боли, потому что это непереносимая мука — жить врозь, открытками, с нарушенным сообщением, без общих мыслей». Но молиться она не будет, она привыкла обходиться без молитв. Не то чтобы она совсем не верила в них — вера в чудо никогда не затухает в нас: просто она предпочитала строить

планы, потому что так правильнее, это честная игра. — Еще удваиваю.

— Пять сверху.

— Пасую, — сказал Круг.

— Удваиваю.

— Уравниваю, — сказал Холл.

— Проиграли — у меня флешь.

— Действительно, — признал

Холл.

— Теперь я точно доберусь, —

сказал Энтони. — Есть на что выпить.

Холл снова стал тасовать колоду.

— Я больше не играю, — сказал

Галли.

— Хватит, — подхватила Кейт. —

Вам будет мало ночи, чтобы отыгаться, мистер Холл. Давайте выпьем еще по одной и спать. — Ее

раздражал его вид, эти выпущенные манжеты, худые пальцы, теребящие колоду. — Не унывайте, — сказала она, — в другой раз отыграетесь. Он всегда был таким, Эрик? Таким серьезным? — Она пояснила Галли:

— Они знают друг друга почти с детства. — Я видел его с приставным носом, — сказал Круг, — но, по-моему, это его не изменило.

— У вас были неприятности с полицией, мистер Холл? — Это было во время фиесты, — неохотно объяснил Холл. — У меня правило: в Риме живи по-римски.

— Мистер Холл покусается на классику, — съязвила Кейт. В его глазах плясали злые огоньки,

провоцируя одинаковое желание погасить их либо раздуть еще сильнее.

— Я иду домой, — сказал Холл. — Спокойной ночи, мисс Фаррант.

— Я иду с вами, — подхватил Энтони.

— Посидите, капитан Галли. Ведь еще не поздно. Выпейте. Расскажите, — запнулась Кейт, — расскажите о шотландских горцах, капитан Галли. — Кстати, — понизив голос, сказал Галли, — на днях пройдоха Минти сказал мне одну вещь.

— Минти? — переспросил Круг. Он встал и подошел к ним. — Что он еще задумал?

Холл застегивал в дверях пальто. Тесное в талии, оно туго перехватило его фигуру. – Не беспокойтесь, мистер Крог, – выкрикнул он. – Станный и сомнительный тип. Возглавляет здешний клуб выпускников Харроу. Ума не приложу, как это могло случиться. Посланник его на дух не переносит. Так он пытался убедить меня, что вы Макдональды. Само собой, я посмотрел потом в справочниках.

– Милый Минти, – сказал Энтони. – До свиданья, Кейт. Мне рано вставать.

– До свиданья.

– До свиданья, мистер Крог, спасибо за выручку. Вы прекрасно

обходились без моих услуг. До свиданья, Галли. Надеюсь как-нибудь увидеть вас в Лондоне.

Так и не придумала она никакого плана, а он уже уходит. Она догнала его у лифта. Холл уехал один, Энтони остался с нею наверху. – В чем дело, старушка?

– Мне нужно поговорить с тобой, – сказала Кейт. Рано или поздно он забудет ее, думала она, но это слабое утешение (рано или поздно он забудет и меня). – Я толком не разглядела тебя, – продолжала она, – мне хотелось многое сказать. О прошлом, – умоляюще сказала она. – Теперь я буду добросовестным

корреспондентом, — пообещал
Энтони. — Три страницы каждое
воскресенье.

Его добродушие бесило ее, оно
отражалось в зеркалах длинного
коридора, гримасничало в
зеркальных маршах лестницы,
искрилось в хромированных дверях
лифта. — Это все, что я заслужила, —
сказала она. — Три страницы в
неделю. А я ради тебя работала годы.
И только об одном думала: как
помочь тебе, а теперь какая-то
сука... — Она презирала свои слезы —
очень это жалкое оружие; не станет
она их утирать и козырять ими не
будет, пусть текут, как заливает лицо
дождь, когда идешь без шляпы. — Это

не так, Кейт, – возразил Энтони, – я тебя люблю. – Он с торопливым замешательством посмотрел в глубь лифта. – Меня ждет Холл. Надо идти. – Слабо сжал ее руку. – Я люблю тебя, Кейт. Правда. Больше всех на свете. А Лу... В нее я влюблен. По-сумасшедшему. Она бы тебе тоже понравилась, Кейт. – Сейчас прочтет какую-нибудь мораль. – Любить и влюбиться, Кейт, – разные вещи.

– А-а, иди ты к черту! – взорвалась она и, размазывая слезы, побежала по коридору. За ее спиной он крикнул в шахту:

– Иду, Холл, – нажал звонок лифта. Перед дверью она привела в

порядок лицо, словно удаляла с него не слезы, а самого Энтони.

Крог встретил ее вопросом:

— Где Холл? — Ее поразило, какой он раздраженный и озабоченный.

— Он ушел с Энтони, — ответила она.

— Как здесь душно, — сказал Крог. — Холл курит совершенно мерзкие сигареты. — Он распахнул рамы и перегнулся через подоконник. — Я ищу Холла.

— Мне тоже пора честь знать, — нерешительно заметил капитан Галли, крутя в пальцах пустой бокал и скучая над карточным столиком, фишками из слоновой кости и

полной окурков глубокой
пепельницей. — Не уходите, —
попросила Кейт. — Выпейте еще. —
Она наполнила три бокала, но Круг
за своим не подошел. — Будем
живы, — сказала она словами Энтони.

— Какой туман, — проговорил
Круг.

— Нужно было отправить их
домой в автомобиле. — Холл захотел
пройтись, — раздраженно пояснил
Круг. — Сказал, что хочет пройтись. —
Он закрыл окно.

— В таком тумане от автомобиля
мало проку, — сказал Галли. —
Пешком быстрее. На автомобиле
можно сковырнуться в озеро в два
счета. — Он отобрал из колоды

несколько карт. – Вы знаете такой пасьянс, мисс Фаррант, – «Шалун»?

– Я не люблю пасьянсы.

– Этот вам понравится. Сначала закроем валеты – вы следите? Они и есть шалуны, ха-ха!

– Это чей бумажник? Энтони? – спросила Кейт.

– Нет, Холла, – сказал Круг. – Я поздно заметил.

– Вот не подумал бы, что Холл способен оставить деньги, – сказал Галли. – Вы видели, как он держит карты, ха-ха? Скряга, верно? – Эта мысль доставила Галли огромное развлечение; он вообще не скучал в компании, всему радовался как ребенок, ему достаточно было

показать палец. – Сегодня еще будут слезы, – сказала Кейт.

– Что? – переспросил Галли, из учтивости отвлекаясь от «Шалунов». – Что вы говорите, мисс Фаррант?

– В чем дело, Эрик? – спросила Кейт. – Выпей. Ты устал.

– Я уже смываюсь, – сказал Галли. – Ага, «Шалун»! Ха-ха!

– Нет, не уходите, – сказал Круг. – Я еще не хочу спать. Рано.

– Лифт поднимается.

– Это Холл спешит за своими деньгами, – сказал Галли. – Давайте спрячем бумажник.

– Вы самый порядочный шалун, – раздраженно сказала Кейт.

Лифт остановился этажом ниже.

— Для первого раза почти получилось, — сообщил Галли, тасуя карты. — Однажды я учил одного француза. Ничего не вышло. Он все время жульничал. А пасьянс теряет смысл, если жульничать.

Крог толкнул раздвижные двери и прошел в кабинет с дорогими книгами и скульптурой Миллеса, оттуда в спальню. Они видели, как он глотал таблетки. — Что случилось, Эрик? — спросила Кейт.

— Голова разболелась. — С полоскательницей в руке он повернулся в их сторону и крикнул через две комнаты:

— Что в этом пакете? —

Галстуки, – ответила Кейт.

– Разве у меня мало галстуков?

– Эти сегодня выбрал для тебя

Тони.

– Тони?

– Развяжи. Они должны быть хорошие, раз их выбрал Тони.

– Они мне не нужны. Отошли их обратно.

– Он уже заплатил за них.

– Напрасно. Ты должна была остановить его, Кейт.

– Он чувствует к тебе признательность, хотел что-то сделать для тебя. – С какой стати мне делают подарки? – возмутился Круг. – Я могу купить сам. Холл подарил запонки. Мне их и так

девать некуда. — Ладно, — сказала Кейт, — я отошлю галстуки обратно. — Она прошла в спальню, взяла пакет. — Ты выпил весь аспирин. Что с тобой, Эрик? — Ничего. Голова болит.

— Посмотрю, что он купил. — Она развязала сверток; галстуки были подобраны в тон, вкус у него, конечно, хороший. — А почему тебе не носить эти?

— Нет. У меня уже есть. Отошли их обратно.

Она отнесла галстуки к себе в комнату и положила в ящик с бельем. Прозвенел звонок лифта; в гостиной щелкнул картами Галли; ничего я не придумала, думала она, дала ему уйти да еще напоследок сказала:

«Иди к черту». Трудно простить себе такую неосторожность. Слуги, гадавшие на кофейной гуще, нянька, бросавшая соль через левое плечо, с детства приучили ее следить за словами, сказанными на прощанье. Поссорьтесь, если нужно, только успейте до полуночи помириться. «Иди к черту» — это терпимо в начале вечера, но не в конце; для встречи сойдет, но расставаться так нельзя. В детстве бываешь осмотрительнее — смерть ходит рядом, ты еще не научился держать жизнь за глотку. Она ласково перебирала галстуки, укладывала их в порядок.

— Вот ваш Холл, — встретил их

Галли, — что я говорил? Я знал, что он вернется. — Лифт остановился — действительно, Холл. Он вошел, зажав в руке шляпу, худой, застывший, в тесном пальто, хмурый. Туман набился ему в глаза, комом застрял в горле. Он хрипло выговорил:

— Я забыл свой бумажник.

— Вот он. Холл, — сказал Круг.

Холл тянул время, рукой в желтой перчатке растирая горло, словно хотел сказать что-то и тщетно ждал подсказки.

— Я пойду с вами. Холл, — сказал Галли, но и это не развязало язык Холлу.

— Энтони тоже вернулся? —

спросила Кейт. Ей показалось, что у себя в горле он растирает комок нестерпимой боли, выпрашивая даже у нее хоть каплю сострадания к своим мукам. Но она не верила ему и не желала входить в его положение. — Он не пришел с вами?

— Нет, — сказал Холл, — я с ним распрощался и пришел один.

— Выпейте, Холл, — сказал Круг.

— Благодарю, — сказал Холл. — На улице просто горло перехватывает. А войдешь, выпьешь, — он вскользь и неуверенно улыбнулся, — и все опять хорошо, все о'кей.

— Сейчас он уже добрался, — сказала Кейт. — Я позвоню. — Вы раскладываете пасьянс, Холл? —

спросил Галли, выпуская на стол «шалунов».

– Пасьянс? Нет, – сказал Холл. – Нет, – эхом отозвался голос в трубке, – капитан Фаррант еще не приходил.

– Попросите его позвонить, когда он вернется, – сказала Кейт. – Говорит его сестра. Даже если поздно. Передайте, что я жду его звонка. Да, в любое время. Меня беспокоит плохая примета, – пояснила она мужчинам и с грустной нежностью добавила:

– Это что-то невероятное: теперь он называет себя капитаном.

Минти стоял у дверей – разбирал имена, разглядывал венки; огромный венок от Крога, маленький от Лаурина; он обратил внимание, что нет венков от Кейт и Холла. Гроб плавно заскользил по рельсам к подножию угловатого распятия; раскрылись дверцы, пропустили и захлопнулись. Через микрофон в алтаре хлопающие звуки огня наполнили громадное холодное здание. Минти перекрестился: стоило ради этого выуживать тело из воды? Он испытывал ужас перед огненным погребением.

Кейт и Круг стояли в первом ряду, за ними старик Бергстен, Холл и Галли; посланник прислал венок. Ближе к выходу стояли два-три служащих, женщина из гостиницы, снаружи толпились желающие посмотреть, как выйдет Круг. Кто-то привел ребенка показать похороны, тот не понимал, зачем нужно стоять спокойно, чего так долго ждут, почему вокруг тихо и неинтересно; его надоедливое нытье раздражало Минти. Он был в положении немого: кто-то говорит от его имени и все перевирает.

Ибо Минти страдал. Он страдал, разглядывая венки, разбирая имена на лентах, страдал, допекаемый

надоедливым скулежом и желанием курить. Займу крону у Нильса, подумал он, не прекращая страдать. Это его четвертый друг. Новых столько уже не наживешь.

Воробей; его травили за то, что он не любил мыть шею; по воскресеньям они гуляли вместе, уныло брели по шоссе, подальше от слишком людных проселочных дорог, и почти все время молчали. У них не было общих интересов; во время каникул Воробей безуспешно учился выдувать яйца, давил скорлупу и пачкал рот; Минти собирал бабочек. В учебном же году они собирали только пыль, поднятую на шоссе автомобилями, и дружили потому,

что больше с ними никто не дружил. Они стыдились друг друга, испытывали взаимное чувство благодарности, а если приходилось удирать от расправы в раздевалке — тогда они любили друг друга.

Коннел проболел всего неделю и умер. Он и героем был ровно неделю, когда подложил учителю на стул конторскую кнопку; он подарил Минти плитку шоколада, сказал, что пригласит на чай; утром, прямо с французского урока, отправился домой и умер от скарлатины.

Голос за спиной произнес:

— Как это печально. Бедный юноша. Целую неделю пробыть в воде. — Это подкрался со своей

записной книжкой Хаммарстен, как всегда позже всех. Прикрывая рот ладонью, он зашептал:

— Репетиции проходят успешно. Только Гауэр никуда не годится. Я ищу другого Гауэра. — И уже по-деловому спросил:

— Из родственников кто-нибудь приехал? — Нет, — ответил Минти, — никто. — Он вспомнил мать, тетушку Эллу; не выходит у нас с родственниками, подумал он.

И еще был Бакстер, который так подвел его в решающий момент, отказавшись даже притронуться к посылке с Черинг-Кросс. — Подумать только, — шептала рядом с Хаммарстеном блондинка, — всего

неделю назад он обнимал меня.

Минти поморщился. Он хотел, чтобы вместо «Шанель» пахло ладаном, чтобы горели свечи перед святыми, хотел всеми средствами поддержать в себе безумную веру в то, что его упокоившийся четвертый друг где-то обретается теперь с Коннелом, не зная боли, обид и женщин. — Вы были не единственная, — огрызнулся Минти.

— Он был такой обходительный.

— У него была девушка. Он нас познакомил. — Минти выложил самый крупный козырь. — О ней никто не знает, только я и его сестра. — Бедняжка, — сокрушался Хаммарстен, — где она? —

Подвязанные тесемками очки в
стальной оправе обшаривали
зеркально-пустую, холодную
внутренность церкви.

— В Англии. Она ничего не знает.
И никто не знает ее адреса. — Но
Минти-то знал, Минти помнил:
Ковентри. Он сохранит эту тайну в
память дружбы (он, правда,
постарается забыть то утро, когда не
нашлось молока, чашки — ничего,
кроме вынужденного
гостеприимства). Оставшуюся от
дружбы тайну он умел хранить
бережно, как если бы то были святые
мощи, бедренная кость древнего
сакса, щепка от Господнего креста;
хранившаяся много лет нетронутая

плитка шоколада, пропавшая в один из его бесчисленных переездов, — наверно, украли; фотограф, где он стоит с сачком, — Воробей снимал; путеводитель «В стране бушменов», подаренный Бакстером; теперь новая реликвия: Ковентри.

— Какую же вы допустили оплошность с этим сообщением о браке, — сказал Хаммарстен. — Ваше счастье, что не потеряли работу. Хотя и не к месту, но Минти рассмеялся: хорошенькое счастье! Считать венки, записывать фамилии, сочинять свою колонку, а потом тащиться по лестнице, одолеть все пятьдесят шесть ступенек: четырнадцать до Экманов, двадцать восемь до пустой

квартиры с забытым зонтиком и гравюрой Густава – глаза вылезут на лоб, пока доберешься до коричневого халата, какао в шкафу и Мадонны на камине! А в общем-то, подумал он, пожалуй, счастье, все могло обернуться гораздо хуже.

– Сегодня объявлен грандиозный выпуск американских акций, – сказал Хаммарстен. – Борьба не на жизнь, а на смерть. – Он зашелся старческим кашлем, заплевав щетину на лице и сюртук. Высоко в небе появилась группа самолетов; точно стоя ласточек, перестраиваясь на лету, они описали круг над озером и ринулись к ратуше, сверкая алюминиевыми крыльями и

наполняя воздух ревом моторов, — благо, орган к этому времени утих. Ребенок перестал плакать.

— Смотри! — закричал он. — Смотри! — Наконец, началось интересное. Из церкви юркнула служащая гостиницы и, прищурившись, окинула всех острым оценивающим взглядом; торопливо пошли сотрудники компании (им еще надо было попасть на работу). Поддерживаемый шофером, старик Бергстен сходил к машине; он явно не понимал, зачем понадобилось его присутствие здесь, и, раздраженно осматриваясь, каждую минуту ожидал подвоха. Галли задержался около Кейт, сказал что-то подходящее

к случаю, вышел из церкви и нацепил монокль. Увидев Минти, он сделал попытку улизнуть, но тот успел схватить его за локоть.

— Вы будете на обеде выпускников?

— Разумеется, разумеется.

— Мне пришла в голову такая мысль, — сказал Минти, — всем изрядно надоели традиционные тосты, разговоры о школе, директоре и всякой чепухе. Что если посланник скажет что-нибудь о литературе, а вы — об искусстве?...

— Что ж, — ответил Галли. — Имеет смысл подумать, мой дорогой. — Вы такой многогранный, вы бы могли сказать что-нибудь о

музыке, о драме – и само собой – о военном деле.

– Только предупредите меня вовремя, – сказал Галли, освобождая руку. – Бросьте открытку.

– Вы были с ними в тот вечер, да?

– Не понимаю – где?

– Вы играли с ними в карты?

– А-а, да. Да.

– И, конечно, знаете, что говорят люди: что даже при таком тумане он не мог просто так свалиться в воду?

– Мало ли что говорят!

– Он был пьян?

– Немного. Дорогой мой, вы не можете себе представить, какой тогда был туман. Я целый час

добирался до миссии.

— Почему же, отлично представляю, — ответил Минти, — я ведь тоже там был. — Он закашлялся. — Я до сих пор не могу прокашляться, весь вечер торчал на улице. — Он сунул руку в карман и достал серебряную спичечную коробку. — Вот, хотел подарить ему. — Повернул коробку, чтобы Галли увидел герб. — Я на самом деле был в Харроу, мне она ни к чему. А ему бы пригодилась.

— Ну вот, значит, и вы помните, какой был туман. — Он вышел с Холлом. Я не стал подходить, решил идти за ними следом и сразу потерял их из виду. А через десять минут

услышал его крик. — Бедняга.

— Еще бы! Но самое интересное, что Холл вернулся после крика. Он был ближе к нему, чем я, и все равно ничего не слышал. — У вас разыгралось воображение, Минти. — Отвернувшись, Минти смотрел, как из церкви выходит Холл. Галли воспользовался этим, чтобы ускользнуть. — Бросьте открыточку насчет обеда, дружище.

— Да-да, — ответил Минти, — насчет обеда. — Он, не отрываясь, смотрел на подходившего к дверям Холла, закипая дикой бессмысленной злобой от одного вида осиной талии, коричневых вельветовых лацканов; если бы я что-

нибуть мог сделать; желтый кусачий уголек, он стоял между Холлом и улицей с холодным чистым солнцем, толпой народа и узорной вереницей самолетов в небе.

— Прошу прощения, мистер Холл. — Он шагнул к нему навстречу, трогая зубы воспаленным, прокуренным языком, и уже чувствовал, как будничность обстановки остужает его мстительное пламя, оставив только желание уколоть побольнее, разозлить. — Вы не желаете сделать заявление? — Какое еще заявление?

— Вы, конечно, войдете теперь в число директоров компании? — спросил Минти и, словно остужая

кофе, часто задышал в лицо Холлу табачным запахом. — С вашим опытом вы, разумеется, будете руководить филиалом в Нью-Йорке?

— Нет, — ответил Холл. — Туда поедет Лаурин.

— Но мистер Круг стольким вам обязан...

— Запомните раз и навсегда, — сказал Холл. — Он мне ничем не обязан.

Это у меня перед ним обязанности. — Он натянул тесные коричневые перчатки. — И если у нас возникают разногласия относительно моих методов работы, то страдаю от этого только я. Пока я рядом, — закончил Холл, — вам лучше

не раздражать мистера Крога.

— Вы не прислали венок, — сказал Минти. — Разве вы не были в хороших отношениях с ним?

— Не был, — ответил Холл.

Он подождал, когда выйдет Круг, и оба направились к машине, рядом и врозь, не обменявшись ни единым словом. По случаю похорон толпа обошлась без восклицаний. Мозг и рука: плотное крестьянское тело, томившееся в визитке и тесном воротничке, воплощало мозг дела, а рядом шла его недумаящая сокрушительная рука с осиной талией и холодно сверкавшими брильянтовыми запонками. Говорить им было не о чем. Смерть — как с ней

все просто, и как мудрено, труднее, чем любовь мужчины и женщины, было то, что связывало их, отталкивало и казнило одиночеством в машине. После их отъезда толпа стала расходиться. Ждать было нечего, смотреть не на что.

— Гляди, — запрокинув голову и спотыкаясь на каждом шагу, кричал малыш, — гляди!

— Мне пора в редакцию, — сказал Минти, — надо сдавать материал. — Как с ней говорить? Женщина. Одно это вызвало в нем озлобление. — Он очень подвел меня с этой вашей свадьбой.

— Мы собирались пожениться.

— Ладно, мне пора, — сказал

Минти. – Надеюсь еще увидеть вас. Если надумаете работать вместе... – Ему не терпелось уйти, он презирал все это – духи, шелковые чулки, пудру, крем; маленький, насквозь прокоптившийся Савонарола, он брезгливо морщил нос; только задобрив счетчик и выпив какао под школьной фотографией, он сможет сказать, что вполне очистился. Он даже вздрогнул, когда она заговорила: он не привык к продолжительным беседам и разговорчивую женщину подозревал во всем смертных грехах. – Вы слышали, как он кричал, – сказала Кейт. – А я нет. Я даже ничего не чувствовала.

– Я не сообразил, – сказал Минти, – ничего не было видно. А потом Холл вернулся, и я решил, что ничего страшного не произошло. – Они поссорились, – сказала Кейт. – Эрик и Холл.

– Вы думаете, – начал Минти, – что Холл...

– Думаю! – оборвала его Кейт. – Я знаю. – Он обмер от этого «знаю»: ведь надо что-то делать, если знаешь, а что, тоскливо подумал он, может сделать Минти?

– И поэтому в Нью-Йорк едет Лаурин, – сказала Кейт. – Вы, конечно, остаетесь здесь? – не скрывая своего презрения, спросил Минти.

– Нет, – ответила Кейт, – я уезжаю.

– Правильно! – воскликнул Минти. – Хорошо. Пусть побесятся! А вы не можете придумать что-нибудь посильнее? Все-таки – брат, это мне он был... – Он не решился сказать вслух – «друг», его отпугнул ее спокойный и дорогой траур, он мог претендовать только на знакомство. Перчатками, туфлями, элегантным платьем она отнимала у него Энтони.

– Несколько дней назад я могла погубить их, – сказала она. – Достаточно было намекнуть «Баттерсону». Только зачем? Свой своего не выдаст. Все мы воры, все

заодно.

— Он не был вором, — возразил Минти, вступаясь за Воробья, Коннела, Бакстера...

— Мы все воры, — продолжала Кейт. — Хватаем, что плохо лежит, и ничего не даем взамен.

— Так вы до социализма договоритесь, — фыркнул в ответ Минти.

— Вот уж чего нет — того нет, — сказала Кейт. — Это не про нас. Братских отношений в нашей лодке не признают. Хватай кусок побольше и благодари Бога, если умеешь плавать.

Над озером опять появились самолеты, оставляя позади перистый

след: «Крог», «Крог».

Дымное кружево повисло над Стокгольмом, и пока самолеты выписывали последнюю букву – первая успевала растаять. – Значит, возвращаетесь в Англию? – спросил Минти, думая о пятидесяти шести ступеньках, о пустующей квартире и итальянке на четвертом этаже...

– Нет, – ответила Кейт. – Просто снимаюсь с места. Как Энтони.

...о ладане и сгущенном молоке, о чашке (чашку-то я забыл купить)...

– Найду работу в Копенгагене.

...о требнике в шкафу, о Мадонне, о пауке, томящемся под стаканом, о доме вдали от дома.